VASA INIQUITATIS
СОСУД БЕЗЗАКОНИЯ

Герард Реве

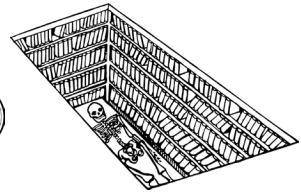
КНИГА О ФИОЛЕТОВОМ И СМЕРТИ

перевод Ольги Гришиной

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Нид

57т



Gerard Reve
Het boek van violet en dood

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Алексей Кропин
Верстка: Дарья Громова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использована фотография Дмитрия Волчека "Военное кладбище", 2018

© Pandora, 1996
© Kolonna Publications, 2018

ISBN 978-5-98144-242-1

Матросу Лису

«Сударь, – говорит Дорус, – как будто тяжкая обязанность возложена мне на плечи. Обязанность написать великую, мощную книгу. Книгу, название которой будет звучать так: О Свете и о Тени, о Фиолетовом и о Смерти… И о Вдохновении».

Герман Герард де Кок[1], «Маленький неврастеник. Краткая инструкция к спокойной жизни»

---

1 Herman Gerard de Cock (1871–1956) – врач-психиатр. «Маленький неврастеник» – настольная книга героев романа Герарда Реве «Вечера», оказавшая также заметное влияние на стиль и сюжет «Книги о Фиолетовом и Смерти». *(Здесь и далее прим. перев.).*

Глава I

Это написано душою ищущей и неприкаянной. Воспоследующее держите в тайне как можно дольше. Вся история, собственно, исключительно мое личное дело, но всё-таки ее дóлжно записать как можно скорее. Нет, особо там ничего не происходит: я кого-то встречаю, я встречаю его еще раз-другой, и затем он трагическим образом исчезает. Мне показывают лишь его одежду, парочку картинок его любительской кисти и некоторое количество скучных, сварганенных его друзьями in memoriam стишков. Картинки и эти стишки его друзей in memoriam меня не интересуют, а вот одежда… Но одежды я не получаю, и целый ее штабель, в добрый метр высотой, преподносят Красному Кресту, а не мне. Разве это справедливо? Задумайтесь над этим. Вы много читаете, и суждение у Вас более зрелое, в отличие от моего. Но теперь – история, о которой я говорил.

Много лет тому назад, в воскресный день, после полудня, осенью или поздним летом 198* года стоял я на обочине в дальнем конце сада, что позади дома в моей захолустной резиденции La

Grâce[2], и вдруг заметил в соседском саду то, чего там раньше не было: в глубине сада, почти на углу, кто-то выложил громадную шахматную доску из белых и черных плиток.

Вообще-то я, как-то раз проходя мимо, видел человеческую фигуру, что-то мастерившую из кладочного раствора, арматуры и стопки непонятно чего, прикрытого пленкой от дождя, но не обратил на это особого внимания, поскольку фигура была упакована в зюйдвестку и грубую рабочую одежду; кроме того, смотреть, чем занят человек на собственной территории, было неприлично. Однако теперь я остановился и принялся размышлять, глядя на несуразно громадную шахматную доску и задаваясь вопросом, каков был замысел сего произведения: ибо, как всегда, я предположил, что во всяком человеческом действии должны быть смысл или цель. В этой шахматной доске заключалось нечто, как мне показалось, противоречащее существованию, и еще это была пустая трата времени, ведь и без того жизнь достаточно коротка. В доске этой, счел я, таилась окостеневшая беда, которая в любое мгновение может прийти в движение. Нет, эта гигантская шахматная доска мне совершенно не нравилась. И кто только измыслил такую чушь?

Кому принадлежал участок позади дома на границе с моим? Этот сад был собственностью швейцарского пастора Н.; года четыре назад он купил дом с садиком у вдовы М. Этот швейцарский пастор был женат, причем на швейцарке,

2 «Благодать» *(фр.)*. – дом Реве в Южной Франции, в деревне Le Poët-Laval, департамент La Drôme.

которую я через некоторое время с ее разрешения стал называть Жанной. У них было трое детей, уже взрослых – две дочери и сын.

Это была семья безупречного поведения, никаких ночных вечеринок с бумца-бумца-музыкой в саду, и всё-таки имелось у меня подозрение, что они были счастливы и всё считали «чудесным».

Однако я отклонился, и потому вместе с Вами возвращаюсь к месту и времени того дня, в послеполуденное воскресенье позднего лета 198*, когда я, стоя на обочине шоссе, пролегавшего за садиками, остановил свой взгляд на неслыханно большой шахматной доске в соседском саду. Да-да: это была определенно шахматная доска: восемь на восемь, то есть шестьдесят четыре точно чередовавшиеся белые и черные плитки. Что за существа собирались играть на ней, и каким образом?

Был третий час пополудни и, как я уже упомянул, воскресенье. Солнечный свет был того охряного оттенка, который придает всему страшное и дьявольское очарование, поскольку бурый ландшафт отбрасывал свет на холмы, пропасти, деревья и облака, которые, в свою очередь, отсылали его назад, на землю. Летом и зимою один и тот же зловещий свет, от которого тамошние не сходили с ума, потому что выросли с ним. Светоч Смерти, Страна Смерти (Агнец Божий, смилуйся), и ничего было не поделать, как бы этого ни хотелось.

Вы знаете, что я всегда внимательно отношусь к деталям. Посему скажу еще, что на задах сада швейцарского пастора, в другом углу, напротив шахматной доски, стояло вишневое дерево. Особенностью этой вишни было то, что она, хотя была здоровая и хорошо ухоженная, никогда не плодоносила, ибо, каким бы прекрасным ни было

ее цветение, она, беззащитная, была во власти ветра Биза или ветра Мистраля[3], которые во время весенних заморозков уничтожали завязи на плодовых деревьях. Дом, сад и вишня принадлежали швейцарскому пастору, и я однажды задался вопросом, сравнивал ли он когда-либо свое вишневое дерево с совершенно иным деревом, а именно с *Древом Жизни, двенадцать раз приносящим плоды, дающим на каждый месяц плод свой;*
10 *и листья дерева – для исцеления народов.* Однако тому, кому надлежало упомянуть означенное Древо Жизни в проповеди для своей общины, всё же не подобало держать в своем саду такое злосчастное дерево, как эта вишня? Прав я был или не прав? Лучше бы мне было не совать нос в чужие дела.

Пока я всё это обдумывал, из дому вышли и неторопливо зашагали по саду в мою сторону супруга и сын швейцарского пастора. Я хотел было смыться, но они определенно уже заметили меня, и мое внезапное и быстрое исчезновение могло бы быть истолковано превратно. Поэтому я остался стоять, где стоял, и, таким образом, завязался разговор у водосточной канавы, разделявшей наши сады, я – на одной, они оба – на другой стороне, но каждый из нас – вблизи огромной шахматной доски и злосчастной вишни. Такой разговор для меня был не мелочь, ибо я, вообще

---

3 Биз – северный или северо-восточный ветер в горных районах Франции, Италии, Швейцарии, сопровождается значительным похолоданием. Мистраль – сильный и холодный северо-западный ветер, дующий с горной цепи Севенны на Средиземноморское побережье Франции; весьма вредоносен для сельского хозяйства Роны и всего Прованса.

говоря, ни с кем не мог говорить хоть о чем-либо. Словцо ввернуть я, конечно, могу, но всегда – напрямую или окольными путями – прихожу к теме Страданий и Смерти и к многим вещам, имеющим к этому отношение. Однако я внушил себе, что не должен делать никаких замечаний касательно бесплодной вишни.

Она, супруга и мать, была невысокая женщина, всегда одетая в белую рабочую блузу, безыскусно и искренне дружелюбная. Он, сын, был красивый юноша, но это я уже прежде заметил. И моего возраста, хотя основательно моложе.

Разговор, конечно же, довольно быстро перешел на шахматную доску, и выяснилось, что он, сын, и соорудил ее, а я тогда не узнал его в грубой рабочей одежде и громадном капюшоне. Да, так оно и есть. Однако мы как-то раз поздоровались с ним на улице или в лавке и посмотрели друг на друга, я – с желанием сколь благородным, столь и трагическим, он – с любопытством и, возможно, как знать – чего только не бывает – с определенным, и не всего лишь пытливым, интересом. Но нет: на мой взгляд, перспективы не было, и, помимо этого, разумеется, в силе оставалось изречение типа никаких шашней с соседским сынком, и уж точно не в чужой стране. И тем не менее мысли у меня были весьма и весьма, ибо сердце в груди моей всё-таки билось человеческое, но кто же видел, что это было по-прежнему сердце семнадцатилетнего? Любви все возрасты покорны, ну да это не новость.

Разговор некоторое время шел о том, какие нынче стоят погоды, но вернулся к гигантской шахматной доске. Да, конечно: сын спроектировал доску совершенно самостоятельно и без

чьей-либо помощи, взахлеб рассказывала мать, с очевидной нежностью глядя на сына. Она обожала этого мальчика, это было ясно как день, да так оно и следовало, счел я. Но мне пришлось наговорить кучу поощрительных слов, не сболтнув при этом ничего нелестного ни о шахматной доске, ни о несчастном вишневом дереве без вишен. Избегать, стало быть, всего, что могло бы огорчить сына или мать, ибо мать тут была важна не менее, чем сын, согласно древнему девизу «чрез нее к нему».

Так что я сказал, что это славная работа – шахматная доска, даже оригинальная, и что на ней, дабы оценить ее по достоинству, надо «сыграть по-настоящему». Но в таком случае понадобятся очень большие фигуры. Она, мать то есть, которую, как я уже упоминал, я довольно скоро стал называть «Жанной», растолковала мне, что фигуры на доске будут живые, а именно – люди в соответствующих одеяниях, благодаря которым можно будет их различать и – король, слон, ладья, пешка и т. д. Скука часов не наблюдает, подумал я. На что я время трачу? Однако без колебаний я похвалил и сию изобретательную находку.

Меж тем я украдкой поглядывал на сына, до сих пор не сказавшего ни слова. Я временно занес его в категорию, которую английские урнинги именуют *silent beauty*[4], этакий красавчик, на мужской вечеринке с недовольной мордашкой молча сидящий себе в уголку, подстерегая добычу, и с течением лет от него остается только молчание. Но я мог ошибаться. Что Вы об этом думаете? Вы – человек с жизненным опытом, верно ведь? Вы наверняка хоть раз имели дело с такими же полоумными

4 Молчаливый красавчик *(англ.)*.

типами, как эти, с шахматной доской? Обуздало ли это тогда Вашу страсть, или Вы еще больше распалились? Ведь Вы уже не мальчик и всякого в жизни повидали? Но, вероятно, у Вас нет желания рассказывать мне разные вещи, с которыми уже ничего не поделаешь.

В любом случае я был более чем уверен, что с этими людьми никогда не перемолвлюсь ни единым вразумительным словом. Нет: я никогда не смогу объяснить им, что вдохновляло и подхлестывало меня и что я думал о земном существовании. Не то чтобы это были грубые или вульгарные люди, о нет: их вины не было в том, что я никогда в жизни не мог ни с кем разговаривать. Но попытайся я поближе познакомиться с ними, это принесло бы лишь огорчение и непонимание. Нет, не из-за моей противоестественной наклонности, ибо, как я полагал, она тут была ни при чем.

Но что представлял собою внешне этот мальчик, то есть единственный сын? В наружности его определенно имелось нечто милое и любезное. У него был крупный нос, сильный рот и большие руки, так что некая определенная часть тела должна была равным образом, хотя и чисто статистически, обладать значительными размерами. Он был не из тех мальчиков, которые немедленно вызывали грубую похоть крови и неукротимое желание, но он «мог быть», под чем я подразумеваю, что лучше лежать под одеялом с ним, нежели с высокой температурой. Но этого случиться не могло, хотя я и не знал, почему.

С отцом, швейцарским, стало быть, пастором, я уже до того наскоро познакомился. Первое, что он сделал, это одолжил у меня почти новую тачку и сам не вернул, а я был слишком малодушен, чтобы

поведать ему, что в полутора километрах отсюда, по пути в город Д., в магазине стройматериалов П. он мог бы купить с прилавка и привезти домой точно такую же тачку, как моя, прочную и недорогую. С ним, с пастором то есть, я тоже не смог бы разговаривать. Но какое удовольствие черпал этот мужик в существовании! Мне он показался слишком уж жизнелюбивым. Возможно, я был чересчур пессимистом, но в тех редких случаях, когда мы сталкивались с ним и точили лясы, я находил его жизнерадостную веру в мироздание, человека, общество и Бога возмутительной, даже безнравственной, ну да: богохульственной. Ибо что мы знаем о Боге? Я – ничего, хотя, разумеется, у меня на этот счет имелись идеи. Он, казалось, знал о Боге всё, но идей у него не было: случается и такое. Когда я видел, как он по воскресеньям шагал по деревенской улице в Eglise Réformée, с этой его здоровенной библией под мышкой, мне бросалось в глаза, что он не идет, а шествует – так, как я это уже раньше видел и описывал. Шевелюра у него была еще изобильная: развевающиеся локоны прогрессивного активиста, преисполненного лицемерного негодования касательно якобы несправедливости; он мог в точности изложить тебе, какой террор для какого народа самый лучший, если только ты сумеешь «понять историческую подоплеку». Эти великолепные изобильные волосы всякий раз напоминали мне о его сыне, и я прикидывал, что если у него, в смысле отца, всё еще были волосы, то и сына пока что не постигнет их выпадение, ибо это вещь наследственная. Из-за моей неприязни к отцу, вызывавшему у меня отвращение, я чувствовал тем большую симпатию к сыну, хотя с догматической

точки зрения это было не по-христиански. Но жизнь сурова, я это знал, а лысого мил-дружка я где угодно мог бы заполучить.

С женой, с матерью, значит, которая разрешила мне называть ее Жанной, я время от времени болтал у нее в дверях, когда она подметала дорогу. Я не говорил ни о погоде, ни тем более о предназначении и суровом человеческом жребии, но как можно более ни о чем, ибо у меня сложилось впечатление, что она воспринимала жизнь как захватывающую авантюру. Это по ее художественной инициативе на фасаде дома была сооружена современная композиция из железобетона, некрасивая, но бесхитростная и не задуманная как террористическое искусство. Она представляла собой двойной круг, из середины которого вылетал сноп лучей, а между лучами было написано IV Soleils, что означало *Четыре Солнца*. Жанна объяснила мне, что эти четыре солнца символизировали ее четырехкратное счастье, а именно ее мужа плюс троих детей. Лучевой сноп был нацелен прямиком на Запад, что мне показалось неблагоприятным, но я счел, что говорить что-либо об этом неловко. Кроме того, я не разбираюсь в искусстве и, стало быть, не могу ничего сказать о том, был ли это *Object*[5] или *Piece*[6] *(Без названия* не подошло бы, ибо там был текст). Архитектуре он не вредил и, вероятно, удовлетворял некую потребность, но мне не нравился. Мне он казался жеманным и вычурным, хотя я и сознавал, что в своей собственной жизни валял по меньшей мере такого же дурака.

---

5 Зд.: поделка *(англ.)*.

6 Произведение искусства *(англ.)*.

Кстати, от монтирования того железного орнамента на фасаде до обнаружения мною гигантской шахматной доски прошло уже два года, и тем временем одно из воспетых в железобетоне солнц закатилось: отец, швейцарский то есть пастор, неожиданно скончался от неизлечимой кишечной болезни. Я не присутствовал при его смерти, оплакивании и на похоронах, потому что посещал чужие земли и народы.

16 Я должен упоминать определенные вещи, так как в противном случае читатели и читательницы, а также Вы, Просвещеннейший Друг, в дальнейшем станете задаваться вопросом: «А где же этот отец? Он разве ни во что не вмешивался? И ты питал к нему такое отвращение, верно? Ты же писал об этом? А теперь делаешь вид, что он вообще никогда не существовал». Так что я еще раз упоминаю о нем, ибо это есть мой долг, но затем убираю его насовсем. Он погребен на кладбище в соседнем городке Д., однако подробнее об этом кладбище – позже. Жизнь сурова, но мой рассказ идет своим чередом, и мы не должны падать духом из-за несчастий.

Чего же хотел случай? В один прекрасный день, когда я ранним утром опять увидел Жанну метущей крыльцо перед дверью, она поманила меня и сказала:

– Жерар, зайдешь на минутку? Я хочу тебе кое-что показать. – Эта просьба не встревожила меня, ибо я уже бывал в доме. Смотреть там особо было не на что. Большая гостиная была весьма комфортабельно обставлена стульями и креслами под Louis Seize[7], обеденным столом под старину и такими же переносными столиками. На стенах

---

7 Людовика XVI *(фр.)*.

висели настенные тарелки местного изготовления, вышитые картинки, узоры из сухих цветов в рамочках, но также и картины маслом, и некоторые из них были вполне эстетически оправданы и приятны глазу. Но всегда у меня был свой суд, и я полагал, что и должен всегда его иметь, а это было нехорошо. Почему мне вечно, хотя и в мыслях, было какое-то дело до всего, что люди по доброй воле изготовляли и чем обладали? Ведь всякий имел право соорудить в собственном саду шахматную доску или держать там вишневое дерево, никогда не приносящее вишен? И всякий имел право поместить любой текст или любое имя на собственном доме, если только этот текст не противоречил общественному порядку и нравственности? И ведь этот швейцарский пастор имел право не просто шагать, а шествовать с развевающейся шевелюрой в свою церковь? Был ли я обычным, а этот человек – нет? Мне она потом отольется, моя спесь, ибо это она и была: спесь и ничто иное.

Тем временем я, возможно – так я счел – двигался навстречу неизвестной и смутной беде, ибо салон, куда провела меня Жанна, из-за плотного тюля и раннего часа пребывал пока не в полном свете дня. Что она хотела показать мне? Уж не намеревалась ли она изуродовать меня, хрястнув ножом из старой газонокосилки по некоей части моего тела? В последнее время в газетах писали ужаснейшие вещи. Но могло и посчастливиться. Бывали матери, которые с превеликим удовольствием выдавали своих сыночков вожделеющему мужчине, прежде всего если этот охотник на мальчиков именовал себя человеком искусства.

Но ведь Жанна была достаточно благоразумна, чтобы знать, что человеку искусства даже кактус доверить нельзя?

Я последовал за ней. Она провела меня в самый дальний уголок гостиной, где мы остановились перед чем-то высоким и массивным, дававшим темно-красный отблеск. Жанна наощупь нашла шнур-выключатель и зажгла лампу в белом алебастровом абажуре, с которого гроздьями свисали стеклянные бусинки. Эта лампа, укрепленная в головах, осветила гигантскую кровать, укомплектованную голубым балдахином, красными бархатными гардинами и самим безупречно прибранным ложем; эту кровать, поведала разрумянившаяся от гордости Жанна, ее сын, краснодеревщик-любитель, изготовил совершенно самостоятельно. И сам сын, конечно же, стоял там, грациозно облокотившись на один из штопороподобных, закрученных в точности по классической модели столбиков.

Что должен был подумать я об этой демонстрации? По сути дела, возможна была лишь одна интерпретация, или я ошибался? Я хотел сказать что-нибудь, совершенно уместное в этой ситуации, но, почти как всегда, сказал бы что-то другое, состоящее целиком из банальностей. Я хотел сказать: «Не освятить ли нам с ним эту кровать, прямо сейчас?» Но не сказал, хотя точно был уверен, что он это освящение найдет в высшей степени приятным, а его мать – даже интересным. Любовь слишком часто обманывалась из-за колебаний, нерешительности, а также стыда, для которого не было причины.

Между тем я не мог отвести от него глаз и очень отчетливо видел его стройные формы под тонким, как шелк, черным повседневным костю-

мом, который изящно драпировал его гибкие члены. «О, молодой господин! – подумал я по привычке. – Быть моим рабом, это тоже можно: просто всё, что угодно тебе, братишка». Но я уже заговорил и с отвращением услышал собственный голос, вещавший о великолепной работе, дескать, ловко, возможно ли, чтобы кто-то столь точно, с такой любовью к ремеслу и всего лишь будучи любителем, мог изготовить нечто столь прекрасное и выдающееся. Он, сын, улыбнулся, опустив глаза. Да, по сути дела надо бы его отшлепать, но сперва я хотел бы облизать его лицо и ушки, а потом очень осторожно пососать его юношеские сосочки.

Я получил от Жанны чашку кофе, на том всё и кончилось. После этого я вновь оказался на улице. Ну что ж, повезет в другой раз, уговаривал я себя.

Повезет в другой раз? Нет, другого раза никогда не будет, ибо я знал, что такого не существовало и существовать не могло. А что, если всё-таки могло, – допустим, представится еще раз подобная ситуация? Никогда ведь не знаешь? Нет, но я знал точно, что свой шанс вновь упущу. Почему? Потому что псих я был ненормальный: весьма умный, возможно, и весьма начитанный, но кому от этого легче. Просвещеннейший Друг, я не намереваюсь насмехаться над Вами или унижать Вас посредством того, что пишу здесь, ибо Ваши знания и мудрость неподдельны и глубоки. Пользы от них никакой, Вы и сами это прекрасно знаете, но всё равно они восхитительны. Когда я вижу, как Вы надеваете те старинные очки в стиле ренессанс, купленные Вами в Равенне, поврежденные, но отремонтированные в прежнем стиле, меня словно что-то пронзает. В Вас есть нечто, как бы это сказать, хотя Вы, разумеется, остаетесь дристуном и интеллектуалом.

Теперь еще кое-что в сторону: нужно как можно чаще носить одежду покойника, но при этом точно знать, что покойник в самом деле упокоился. Это выглядит следующим образом:

если Смерть натолкнется на Вас на улице, она подумает этого надо прихватить с собой. Но, вглядевшись пристальнее, Смерть узнаёт одежду и говорит себе а этого типа я уже забрала это всего лишь призрак. Надеюсь вернуться к этому позже.

Да, конечно, я всякие видывал виды. Что касается того Мальчика с шахматной доской и кроватью с балдахином и вообще мальчиков: я довольно рано испытал это роковое влечение – во времена, когда нечто подобное было далеко не в моде. Согласно одному ученому эксперту, я страдал от юношеского невроза; нет, мои детские годы солнечными не были. Мне как-то сказали ты просто про это книгу напиши и проблему чистосердечно изложи, можно ведь? Да, чего только в наше время не можно? Я это всё взвесил, и уже название у меня было: *Дом Без Солнца*. Но это не прошло, ибо кто купит книгу с таким названием? Дом без солнца, у людей и до́ма такого полно.

А между тем юность у меня была печальная. Школу я провалил, а именно – гимназию, а это вам, между прочим, не спортивная школа. В спорте и играх с мячом, кстати, я тоже не блистал. Осознание того, что я неудачник, долго меня преследовало. Только значительно позже я понял, что ученая карьера означала бы конец для меня. Я не бесталанен, нет: полагаю, я просто ускользнул.

Мне тут пришло в голову кое-что; возможно, Вам это покажется забавным. В школу я больше не ходил, а работал служащим в одной конторе. Одной из моих обязанностей была организация каких-то вещей, возможно, сортировка почты, точно уже не помню. Самым юным служащим был не я, а другой мальчик всего лишь четырнадцати лет. Из-за него мои чувства и темные жела-

ния – я не понимал их, и они нагоняли на меня страх, – распалялись как никогда прежде, поскольку он ежедневно был у меня перед глазами. Это был застенчивый и чувствительный мальчик, которого к тому же держали за дурачка и над которым издевались. Я хотел, чтобы этого не случалось, но ничего не делал для того, чтобы помешать этому или как-то умерить, прости меня, Господи. Когда я видел, как дрожат его губы и увлажняются глаза от страха и горя, дыхание мое учащалось и вздымалось орудие любви – от жалости и желания. Почему его не били, например, по некоей определенной двойной части тела, чтобы я чувствовал еще большее сострадание?

Относительно его внешности я буду краток. Он был Вечный Мальчик, одетый так, каким он был и каким пребудет всегда. Это была одежда отверженных, а именно: поношенный черный костюм отца, распоротый и подогнанный по невинной фигуре сына. Штаны превратились в юношеские брюки до колен – одеяние, которое у определенного рода зрителей вызывает куда более горячее желание, нежели штанишки, оставляющие открытыми бедра.

В этой конторе я проработал всего ничего. Это было мошенническое предприятие, торговавшее никчемным барахлом. Однако там царило озорное настроение напряженного веселья, из-за которого нужно было всякий раз выкидывать новую шутку, забавную или нет. Единственной жертвой одной из этих шуток, повторявшихся изо дня в день, был вечный мальчик: когда шел дождь, его в наказание запирали в стенной шкаф. Через запертую дверь слышалось его неразборчивое бормотание, потом вновь пискливый плач. Мне это не нравилось, но я

ничего не делал для того, чтобы этому помешать. Возможно, всё-таки это было правосудие. Ибо его запирали только тогда, когда на улице начинался дождь, а просто так – ни разу.

Начальник этой конторы умер, я точно знаю. Но мальчик, которого отправляли в шкаф, когда начинался дождь, должно быть, еще жив. Если это так, он уже выглядит иначе, чем тогда: тут можно поставить точку.

Глава III

Как вы помните, соседский юноша из первой главы смастерил шахматную доску в саду и кровать с балдахином в гостиной, и я питал к нему чувства, возможно, и любовь, но в любом случае страсть, и горячо желал лелеять его, прижимать его к себе и свершать мое желание с его благородным юношеским телом. В его имени, Жан-Люк, я находил тайную красоту, хотя двойные имена через дефис всегда казались мне манерностью холопов. В его случае, однако, это было дивное имя, возможно, потому, что Жан означало Иоанн, который пишет, что вначале было Слово, а Люк – Лука, который сообщает, что Господь знал смертный страх и сомневался в Себе. Нет, мне не нужно, чтобы Вы уточняли. Всё равно у Вас и книги-то соответствующей в доме нет, ибо войдет кто-нибудь и поймает Вас на том, что Вы держите в шкафу Библию. И тогда конечно, тогда Вы немедленно погибнете в глазах всех значительных людей.

Но теперь: больше никаких промедлений. Рассказ должен дойти до конца и концом завершиться. Это, Просвещеннейший Друг, моя обязанность перед Вами, да и преданных моих читателей и читательниц я не могу подвести: слишком уж

часто я привлекаю к нему внимание. Вы думаете, что я пишу, что мне в голову придет, то есть время от времени и как заблагорассудится, и притом записываю всякие враки? Ну, тогда у Вас превратное мнение обо мне. Я – добрый католик, который отлично осознает свою ответственность.

Вот что: существуют писатели, которые чего только не выдумывают и Бог весть какую чепуху расписывают в надежде угодить рецензенту. Не так уж глупо, ибо и впрямь эти книжные эксперты питают пристрастие к «игривому», «новому», «оригинальному», прежде всего если эта «игривость» сопровождается «шаловливым взглядом на вещи». Но искусство – не игра, и всё новое и оригинальное – плохо и никчемно, Вы и сами прекрасно знаете. Нет, я всегда придерживаюсь фактов, ибо они сами по себе достаточно безумны.

Увы, продолжение моего рассказа нелогично. Вы, очевидно, думаете о том, что у меня, то есть героя, была кратковременная связь с тем юным шахматнодосочным королем и балдахинокроватным принцем – возможно, с одобрения матери. (Я считаю, что никто никогда не должен делать того, чего не одобряет его мама.)

Нет, всё было по-другому. Я часто отлучался, я имею в виду, пребывал в другом месте, нежели в La Grâce. У меня в то время еще было жилье в Отечестве, и во Франции давно уже приобретенные Тайные Угодья, в нескольких часах от горного заповедника, где еще водились белки, такие пугливые, что их было запрещено фотографировать. Да я и сам – зверь в неволе, а потому всё расскажу.

Как-то раз, спустившись из упомянутых Угодий в долину, чтобы забрать почту из La Grâce, я заме-

тил на улице Жанну, мать Жан-Люка. Мы зашли к ней и немного поболтали – ни о чем, как и прежде. Я не заметил в ней ничего особенного, но по прошествии некоторого времени после чашки кофе она извинилась: ей нужно было в больницу в большой город Вальреас[8]. Только тогда она поведала мне, что собиралась навестить своего сына, Жан-Люка. Господи боже мой, что же случилось? Когда Жан-Люк на своем автомобиле выезжал по кольцевой развязке в большой город Вальреас, некто другой, безбашенная молодая личность, подрезал его на своем автомобиле вопреки правилам. Сам-то субчик остался невредим, а вот Жан-Люк получил серьезное повреждение колена и неслабое сотрясение мозга. Колено ему тут же успешно прооперировали, но сотрясение мозга потребует еще длительного постельного режима. Стало быть, опасности для жизни нет? Решительно никакой.

Некоторые люди смакуют сообщения о несчастных случаях и насилии, но я от этого не получаю ни малейшего удовольствия. И без насилия жизнь достаточно ужасна. Ах, бедняжка Жан-Люк! Возможно, я был ему совершенно не нужен и мои авансы он с холодной насмешкой отклонил бы, но я всё же любил его и хотел, чтобы он как можно скорее выздоровел. Не навестить ли мне его? Я счел, что разумно было бы пока об этом не спрашивать.

В течение двух последующих дней я названивал Жанне из Угодий. Да-да, у Жан-Люка дела шли просто отлично, хотя он по-прежнему страдал

---

8 Valréas – коммуна в департаменте Воклюз в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег.

сильными головными болями. Я не хотел надоедать и больше не звонил, и лишь пару дней спустя вновь зашел к Жанне.

У Жан-Люка по-прежнему всё было хорошо, хотя эти тяжкие головные боли продолжали мучить его. Но, конечно, Жанна вновь передаст мои приветы и добрые пожелания. Я не осмелился спросить, нельзя ли мне разок с ней в Вальреас. Я сидел в задумчивости и чувствовал себя не в своей тарелке, невзирая на уютную обстановку, которая, к счастью, не была ни современной, ни ручной работы. Выкурить сигарету – да, пожалуйста, но ни вина, ни какого-либо другого алкоголя не было. Я хотел сказать что-нибудь веселое или ободряющее, в крайнем случае фривольное, но что-нибудь такое, что могло бы доказать, что я – человек и мне знакомы эмоции, сочувствие, предупредительность и прочие чувства, ибо не был же я поистине дурным человеком?

– Знаешь, я что подумал? – обратился я к Жанне. – До Вальреаса – всего часок езды. Если случится так, что тебе будет неудобно – гости там или постояльцы, или что-нибудь еще, я с удовольствием съезжу вместо тебя. Смотри сама, как тебя устроит. – Что-то я перегнул с этим лицемерным нытьем, подумал я. И что бы просто не сказать, что мне этого хотелось? Мальчик, в конце концов, совершеннолетний, и мне было нечего стыдиться? Должен ли человек всю свою жизнь ходить, сгорбившись от самообвинений и стыда и постоянно говорить вещи, прикрывающие суть? – Послушай, Жанна, – продолжал я, – должен тебе сказать, что я весьма неравнодушен к твоему сыну.

Жанна улыбнулась. Не фальшивой улыбкой, я видел это очень хорошо. И теперь, когда решительное слово было сказано, я спокойно и ясно поведал ей то, что тогда, стоя у той кровати с балдахином, я – на одном конце, Жан-Люк на другом – хотел сказать ему, но в последний момент удержался. Жанна улыбалась теперь во весь рот. То, что я рассказал, показалось ей очень забавным, хотя, разумеется, было еще вопросом, одобряет ли она всё, что забавно. Но в ней было что-то человеческое, конечно: она была милая женщина.

Мои мысли поплыли, и в воображении я на время перенесся к Жан-Люку, в его белую постельку в больнице большого города Вальреаса, может быть даже в одноместную палату, где мы могли бы остаться с ним с глазу на глаз. Как я стану оказывать ему знаки внимания – этически, то есть льстить ему, или же бурно, с пылкими объятиями? Оно было несколько преждевременно, это мое забытье, ибо я ни капли не был уверен в том, что когда-либо смогу проведать его. Но мысли мои устремлялись вперед, и я обдумывал, как бы мне приподнять одеяло в ногах его постели, чтобы ласкать его босую ножку или нахально обхватить рукой большой палец на его ноге – в качестве вульгарного, однако явного символа, ибо речь в действительности шла не об его большом пальце, а об одиннадцатом пальчике. Или же он больше проникнется мечтательной романтической любовной беседой, сопровождаемой осторожным поглаживанием по волосам? Я уже задумывался также и о возможной перемене ролей. Придется ли мне стать его рабом, чтобы время от времени он, оседлав меня, больно упирался коленями в мои предплечья, награждая меня при этом тумаками

по роже? За сладкий миг – мильон страданий, что да, то да, но обе ли модели были уместны здесь в их соответствующих ролях? Ведь он, Жан-Люк, был определенно тип мягкотелый, я имею в виду, чайник и вышивальщик, хотя та шахматная доска в саду была сработана толково, а его картины маслом в гостиной – Жанна уже поведала мне с гордостью, что это тоже ее сынок – не барахло и не жалкие потуги. Однако шахматная доска по-прежнему вызывала подозрения. Но он же не был интеллектуалом или чем-то в этом роде? И, возможно, эти картинки свидетельствовали о его художественных намерениях, как знать. И вообще, не грозило ли мне что-нибудь? Что, если он трагически влюбится в меня, как бы странно это ни звучало? Ладно, волосы у него были еще целы, но иметь интеллектуала или артистического типа в качестве милого дружка было бы, вероятно, такой же казнью египетской, как и лысого. И как потом от него отделаться? Послушай, Герард, внушал я себе, пока еще ничего не случилось. И потом, ты ведь сам повсюду суешься? Да, что верно, то верно.

Я вновь уехал в мои Тайные Владения, где пробыл три дня, и только на четвертый опять спустился в La Grâce. Звонить Жанне я не стал, ибо так можно человека с ума свести.

Спустившись, я увидел, что жалюзи на окнах дома Жанны закрыты, хотя было уже десять часов утра. Вблизи дома, но не прямо перед ним, стоял темно-серый, почти черный фургон со швейцарскими номерами. Что бы это значило? Возможно, то, что Жан-Люка выписали из больницы, и тем временем прибыли швейцарские родственники, и они собирались все вместе отправиться к себе

в Швейцарию. Поднимать жалюзи, чтобы вскоре вновь спустить их перед отъездом – ненужные хлопоты. Я подумал, что у меня была еще возможность попрощаться.

Когда я добрался до La Grâce, наш почтальон, Филипп Р., как раз слезал с велосипеда перед моей дверью.

– Жалюзи спущены, – сообщил я ему, словно он и сам этого не видел. – Уезжает Жанна, не знаешь? Или у нее гости, и они засиделись допоздна?

Филипп Р., понизив голос, спросил меня, разве я «ничего еще не слышал». Нет, я ничего не знал. И что же я должен был слышать?

Филипп помолчал, задержавшись взглядом на спущенных ставнях жанниного дома.

– Да сын ее, – сказал он. – Жан-Люк. Позавчера.

Жан-Люк? Что с ним? Итак: Жан-Люка больше не было с нами: Жан-Люк умер. Филипп отсоветовал мне заходить к Жанне:

– Она прямо вся не в себе, – сказал он.

Глава IV

Первым моим впечатлением от ужасной новости было чувство невыразимого одиночества: всё покинуто, всеми и каждым. Что же мне делать, совсем одному? Как мог я показаться на глаза моим родителям с таким известием? Я немедленно осознал, что мысль эта была странной, ибо какое дело моим родителям до этого? Совершенно никакого, кроме того, что они тоже были мертвы, в точности как Жан-Люк, но они, мои родители, уже очень давно, много лет назад, скажем так. Но кому было до этого дело? Нет, никому дела до этого не было. Это же ведь не их вина? Это же вина того придурка, который взял да наехал на автомобиль Жан-Люка? Чья же еще? Может быть, моя? Это было бы полное безумие? Тут я усомнился: до полного безумия пока что не дошло. И внезапно я уверился: в этом – моя вина, и только моя. Конечно: в смерти Жан-Люка был виноват я, что подтвердили оба моих родителя, а они могли это знать, правда же? Так-то вот.

Смотрите, Просвещеннейший Друг, теперь Вы видите, как кто-то осмеливается честно написать, что это его вина. Нет, Вы ни в чем не виноваты, правда? Нет, Вы никого не доводили до смерти,

но знаете, почему? Потому что Вы слишком трусливы, чтобы честно убить. Но сколько невинных мальчуганов вы погубили, сколько молодых юношеских сердец попрали и навеки изуродовали? Нет, Вы об этом ничего не знаете, не так ли? Отчего же Вы всё позабыли? Да потому что счет потеряли, вот как! Я Вас выведу на чистую воду, а понадобится – так и книгу напишу, неважно, лишь бы люди об этом узнали.

Но нужно продолжать, ибо я не хочу томить читателя. Короче, это было событие, которое повергло меня в глубокий шок, прежде всего своей внезапностью и пришедшим извне и, казалось бы, случайным несчастьем. И притом это была моя вина, еще и это. Если это была моя вина, то на мне лежала ответственность за достойные похороны и подобающий траур.

Наш почтальон Филипп Р. не мог сообщить мне больше никаких деталей, кроме того, что Жан-Люка срочно перевезли в другую больницу, где он вскорости скончался. И еще Филипп Р. полагал, что панихида и похороны состоятся на следующий день, завтра то есть, в Eglise Réformée, на главной площади городка Д., в два часа пополудни. Но насчет времени он не был уверен, и мне пришлось поспрашивать.

Оказалось, что день и час верны, и меня это устраивало, ибо день был – пятница, и была возможность купить отличные цветы на еженедельном утреннем рынке в городке Д. Магазинные срезанные цветы были столь дороги, что по дороге домой уже облетали – так долго они хранились. У моего любимого цветочного короля на упомянутом рынке имелись превосходные и довольно дешевые гвоздики, такие свежие, что могли

простоять в прохладном помещении почти четырнадцать дней. Тратить деньги на покойника – это нормально, но на ветер их пускать – сдалось оно.

Но это всё было не суть. Завтра к концу дня для меня всё будет кончено: вопрос терпения. Но оставалось, и уже навсегда, чувство одиночества. Возможно, я был слишком созерцательным и чересчур много и чересчур долго обо всем раздумывал.

Моя мать умерла довольно молодой, потому что я недостаточно любил ее. Отец пережил ее на шестнадцать лет и умер в старости, ибо я смолоду питал к нему отвращение, а потом и возненавидел его. (Я этого не одобряю, но так оно и есть). В остальном я не против смерти, в отличие от многочисленных глупцов. Истинная проблема – одиночество. Быть одному – в большинстве случаев проблема терпимая, а вот знать, что тебя бросили – никогда. Я задавался вопросом, как чувствовал себя Господь, и бросил бы он когда-нибудь человека или какое-либо другое существо. Но вновь отложил эти вопросы в сторонку, ибо ничего в этом не понимал.

Так что я не против смерти и уж точно не против похорон. К кремации я проникался всё большим отвращением, также и потому, что близкие не могли завладеть пеплом покойного[9]. Да, и как только людям в голову приходит подобный

---

9 По нидерландскому закону от 1991 г. пепел покойного выдается близким по истечении 30 дней, во время которых они могут окончательно решить, что сделать с прахом. До того времени на развеивание праха (и соответственно выдачи его в распоряжение близких) требовалось разрешение прокурора.

кошмар? И как это возможно, что люди позволяют так сильно унижать себя? Похоже, это вина их самих, если они продолжают терпеть такое.

Однако я ведь говорил о моих намерениях купить отличные цветы для покойного Жан-Люка, хотя был еще вопрос, зачем бы это ему было нужно, но об этом думать я не стал. Нет, проблема была в том, что на букете полагалось висеть карточке с именем дарителя, ибо в противном случае никто не узнал бы, от кого цветы. Если имени не указано, то это поистине выброшенные деньги, потому что букет мог быть от кого угодно, а это, разумеется, неправильно. Стало быть, речь шла о двойной или одиночной карточке, в крайнем случае визитке, но у меня их не было. Заказывать визитки специально для этого случая я считал расточительством, ибо как часто я посылал кому-нибудь цветы? Вся моя семья, насколько мне было известно, умерла, а среди коллег количество выживших было ничтожным. Я просто не знал, что делать. Можно ли было купить в каком-нибудь достойном магазине канцтоваров пустые карточки, например, с прилагающимися к ним конвертиками? Может и нет, ибо кому эти пустые карточки нужны?

Как это вышло, не знаю, но внезапно меня осенило. Я торопливо перебрал еще не рассортированную стопку почты, и глядь: двойная открытка из изящного лилового картона, с картинкой только на первой страничке – два кролика, танцующие рука-в-руке перед конфетно-пряничным домиком, с золотой надписью *Счастливого Праздника*. На чистом обороте было несколько слов, под ними подпись: *Герт-Ян*. Я этому Герт-Яну искренне желал всех благ, но кто он есть или был, я не

имел понятия: люди всё больше отдаляются друг от друга. Острым ножом я отделил чистую правую сторону от картинки и исписанной левой стороны и получил изящную пустую карточку прелестного формата. Я мог испортить ее, посадив кляксу или сделав ошибку, но ничего такого не случилось, и я без ошибок написал *Au Revoir Jean-Luc* и поставил свою характерную простую подпись. Оставался еще день до похорон, и в этот промежуток времени я мог раздумывать до бесконечности. (*Au Revoir* по-французски означает *До свидания*, но речь не об этом).

Время тянулось медленно. Я проводил его прежде всего в размышлениях, важных, но совершенно бесполезных. Такое бывает со всеми, так что я пытался не впадать в панику или неутешную скорбь, ибо кому это нужно? Надобно пытаться из всего извлекать хорошее, насколько это возможно, не то чокнешься. Я поэтому сделался католиком, по собственной инициативе. Таким образом я не чокнулся, в этом был плюс. Быть чокнутым само по себе неплохо, но людям это не по душе.

Бóльшую часть жизни я был одержим виной, чувством вины. Я всегда думал, что во всём виноват я сам. Преимущество чувства вины в том, что человек никогда не пытается доказывать свою невиновность, это может оказаться весьма трудоемким делом. Мое чувство вины было очень хорошее, но, увы, я слишком часто сомневался в его правомерности. Так было и теперь, что касалось этой трагической и совершенно неожиданной смерти Жан-Люка. В самом ли деле эта смерть была моей виной? Я был к ней причастен, это правда. Но истинным виновником всё-таки был тот малость тронутый парень, придурок, который

просто так, ради шутки, налетел на автомобиль Жан-Люка? Разве он не подлежал наказанию? От этой мысли я вновь обрел крепость духа. Порой такие трагические типчики, недополучившие тепла и понимания в юности, обладали весьма привлекательной внешностью. Они просто излучали чувствительность: большие, мечтательные глаза, исполненные любви; крупный, взывающий к нежной заботе юношеский рот; дерзко встрепанные ветром школярские волосы. И при этом столь бедные и столь одинокие в своих дорогущих, краденых или купленных на прикарманенные деньги одеждах: просто сошедшие с рекламной картинки, с прилагающимся с номером счета: *Сделайте Что-Нибудь Для Нас*. Ты не знал, что такие проблемные мальчики были просто-напросто убийцами, или, вообще говоря, ты это знал: покуда вертится земля, люди поклоняются своему убийце, как частным образом, так и во время политических выборов.

Нет, тут он ничего не мог поделать, этот пропащий мальчишка, ибо «просто вдруг так получилось». Власти пальцем не шевельнули, и стоило некоему красивому молодому блондину-полицейскому хорошенько накостылять одному из этих зомби-из-зоны-терпимости, как народ плечом к плечу вышел на улицу крушить чужие окна и автомобили, потому что возникла пограничная ситуация. Нет, никакой политики, пожалуйста, ибо она омрачает картину мира.

Между тем я всё-таки заинтересовался этим психически неустойчивым мальчиком, который от нечего делать взял да въехал в автомобиль Жан-Люка. Перед моим внутренним взором с большой отчетливостью – а это дар – возникли

фигура, одежда, лицо и небогатые волосы. Не должен ли он быть подвергнут медленной пытке, терзаниям определенных частей его юного тела, желательно – до самой его смерти, ибо в противном случае он мог бы через какой-нибудь юридический коллектив потребовать с меня компенсацию за причиненный ущерб. Так что пытать до смерти, и чем дольше будет продолжаться пытка, тем сильнее наслаждение.

Теперь я спрашиваю себя, смогу ли я в одиночку справиться с этой богоугодной работой, то бишь с медленной пыткой этого заблудшего в юности типчика. Мне бы понадобился мотивированный сотрудник, но кто? Конечно, я тут же подумал об одном красивом молодом чернокожем полицейском-католике, но тот из-за своей набожности и энтузиазма начал бы действовать слишком быстро, а это в мои намерения не входило. Кто же мог бы мне помочь? Ну-ка, погоди: Жан-Люк, естественно, нежный голубец, который артистическим прилежанием пытался подавлять свою безмерную жестокость. О да, он уж точно будет содействовать, его длинные тонкие руки не оставят в покое ни единого местечка на теле узника. О, милый Жан-Люк, дай ему ощутить, сколь ты жесток. У тебя ведь море времени, дабы показать ему, что такое боль, правда же, на каждом участке его ущербного юношеского тела? Ты сделаешь это, ведь я люблю тебя, и ты меня тоже, о милый, нежный принц-истязатель!

Но внезапно, когда я уже был готов взять в руку свое орудие любви, любовная моя сказка развалилась: не мог Жан-Люк ни в чем участвовать; ведь Жан-Люк был мертв? Да, верно, но из-за хлопот у меня это выскочило из головы.

Как нажито, так и прожито. Любовь была сильнее смерти, так даже в Священном вечном Писании было сказано, а значит, правда, но смерть всегда выигрывала, так учил опыт. Только не знаешь, когда она придет. Это был своего рода живой футбол.

«Ах, бедный милый Жан-Люк, я так любил тебя, с того самого момента, как увидел, знаешь ли ты об этом?» Я был погружен в скорбь, но мое орудие воспроизводства изготовилось к битве. Трудна была она, жизнь, и в то же время неслыханно прекрасна. В любом случае Жан-Люк был прощен за то, что не мог отправиться вместе со мной выслеживать этого сонливого маменькина сыночка, этого обделенного обществом проблемного мальчишку, чтобы совместно истязать его где-нибудь в сарае, в темном лесу... Ведь вокруг было достаточно глухих лесов и навсегда заброшенных сараев...? И у меня по-прежнему имелся собственный автомобиль? Но, как было уже сказано, у Жан-Люка была уважительная причина, ибо смерть – это обстоятельство непреодолимой силы. Люди умирали, хоть и оставалась их целая куча. Но соратника-то я нашел. В идеале это был бы, разумеется, милый католический мальчик из полиции, желательно черный, ибо им свойственна врожденная и потому весьма изощренная жестокость. Однако предрассудков у меня не было, никогда не имелось, так что пусть будет и белый полицейский, католик, само собой, даже если он немного пренебрегал религией, главное, чтобы не анти-католик, ибо это скверные люди, а следовательно, и скверные полицейские.

Держал я на примете одного человека, который, возможно, буде на то Божья воля, смог бы исполнить почетную партию в моей любовной песне. И

человек этот был куда моложе Жан-Люка, достигшего, невзирая на всю свою привлекательность, ко дню трагической смерти аж 27 лет (по словам почтальона Филиппа Р.), – то есть почти что грязного старикашки за тридцать. Но для краткости: в моем психологическом представлении, опиравшемся на ревистские религиозные убеждения, угнездился образ всё еще полного жизни, совсем юного восемнадцатилетнего жандарма, служащего в полицейском участке городка Д., то есть неподалеку; я видел его всего раз-другой, однажды – в униформе на улице, затем, когда мне по административным причинам понадобилось в контору – в штатском, иными словами в футбольной форме, которая шла ему настолько, что у меня закружилась голова. И такой приветливый этот мальчик, такой вежливый, даже немного стеснительный: юный герой, охраняющий нашу жизнь, нашу безопасность и наше имущество. И на улице, то есть в первый раз, я слышал, как коллега называл его Жан-Мари; при этом словно раскаленный клинок нежности и заботливого желания пронзил мое сердце. Жан-Мари… Какая любовь и покорность в этом имени! Но я не смел говорить о своих чувствах ни в конторе, ни на улице, и всякий раз бросал на него только короткие взгляды, ибо произвести неприятное впечатление было достаточно легко. Такой мальчик был хорошо подготовлен и тренирован, но в невинности своей не ведал, отчего определенный сорт мужчин поглядывает на него. Какой жертвенный дух и мужество жили в этом мальчике! Я пытался изменить Жан-Люку и памяти о нем, и это было дурно с моей стороны. Но выбор не мог быть трудным, ибо Жану-Мари было всего восемнадцать, а Жан-Люку – двадцать

семь, и он был Лев по гороскопу, поскольку я видел дату его рождения, напечатанную на бумажке, в витрине на фасаде мэрии, где обнародовались все мутации гражданского состояния. С одним Знаком я ладил лучше, чем с другими, но со Львом поделать не мог ничего. Я купил газету и заглянул в рубрику *Гороскопы. Львы: Работа: Делайте свое дело твердой рукой, но ничего не меняйте. Любовь: Неожиданный вечерний визит ни в коем случае не оставит равнодушным Ваше сердце. Здоровье: Опасное для жизни снижение температуры тела.* Странно, что кто-то в редакции газеты мог в точности знать нечто подобное на расстоянии, да еще о покойнике.

Времени у меня было навалом, но Бога и загадку смерти мне лучше было бы до поры до времени оставить без внимания. Речь шла о том, что́ может предложить нам жизнь, и о вопросе, готов ли ревизм начать свое победное шествие по земле, или же это гиблое дело.

И тему восхитительного и, как я надеялся, жестокого юного полицейского, служащего в жандармерии городка Д., которого я видел как в униформе, так и в спортивном костюме, и которого звали юношеским именем Жан-Мари (какая благодать!) я тоже вынужден был пока оставить в покое. Сперва одно, только потом – второе. Что касалось Жан-Люка, всё было кончено: завтра после полудня ему придется в землю, возможно, получасом или тремя четвертями часа позже, нежели рассчитывали, но в эту дыру в земле уйдет он, прощай, милый мальчик, в добрый путь, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Глаза мои налились слезами. Порой я принимаю вещи слишком близко к сердцу.

Глава V

У некоторых людей нередко имеются весьма разнообразные мысли. Один мысленно уделяет огромное внимание чему-то определенному, другой преимущественно размышляет о чем-то совершенно ином. Мое мышление в этом смысле – не исключение, однако обладает существенным отличием. Кроме того, порой я углубляюсь в нечто, на первый взгляд, второстепенное, которое, тем не менее, оказывается предметом важным. Я всегда был очень одинок, в чем признавался в своих книгах – порой с сердечной болью, но всегда обоснованно. В этом я преуспеваю, и потому мои книги причисляются к исповедальной прозе, жанр непростой, но читатели в восторге, они видят в написанной мною книге верного спутника на их жизненном пути, в счастье и беде.

Я подумал о мертвом теле Жан-Люка – я ведь всё равно думал о нем. Будет ли он лежать в гробу совершенно нагим, или хотя бы верхняя часть его тела будет обернута изящной белой шелковой рубахой? Останется ли в таком случае его воротничок открытым, или же и верхнюю пуговку застегнут и снабдят его простым, скромным галстуком, черным, например, или исчерна-фиолетовым?

Я этого не знал, да и как я мог знать, но одежды было достаточно, в этом он никогда недостатка не испытывал, это уж точно. Ибо всякий раз, встречаясь мне в магазине или на улице, он был одет во что-то другое, пусть неформальное, повседневное, но всегда модное, не готовое платье из народной галантереи, а купленное в более претенциозном магазине с каким-нибудь загадочным названием, каковой магазин мелкая буржуазия полагает шикарным.

Но какое было мне до этого дело? Да никакого, конечно, но кто-нибудь, наоборот, хотел знать, что почем, или богат ли такой-сякой. То пасторское семейство ни в чем не нуждалось, однако и кучи мешков с золотыми дукатами стен не подпирали. Благосостояние – тут никаких возражений, при условии, что оно не ведет к высокомерию. Был ли Жан-Люк высокомерным? Да, немножко, подумал я. Высокомерие – грех, но разве нельзя было на этот грех молодого человека посмотреть сквозь пальцы? Я всегда был за честную оценку во всём, но нужно также быть и снисходительным, ибо в противном случае сердце твое преисполнится злобы.

Между тем нельзя было отрицать, что меня интересовала одежда, в данном случае одежда Жан-Люка, более в ней не нуждавшегося и не оставившего после себя брата или братьев, которые могли бы ею воспользоваться. А выбросить, то есть попросту отдать мусорщику, на это никто бы не пошел, учитывая горькую нужду в большой части мира. Эту одежду я счел важной проблемой, которую мне хотелось разрешить как можно скорее.

Подойдет ли мне жан-люков гардероб? Я полагал, что да; нет, я был в этом уверен. Он был сходного со мною сложения, широкоплечий и узкобедрый, в точности как я. Ростом он был чуть повыше меня, но не слишком, всего на несколько сантиметров и, возможно, ноги у него были чуть длиннее моих, но укоротить брючины было пустяшным делом. И это была одежда качественная, чуть ли не аристократическая, так что можно было не опасаться, что меня сочтут за богача и явятся ко мне просить денег, что в мои планы не входило.

Когда бы я мог целиком влезть в его одежды и натянуть его белье и носочки, я в истинном дурмане мог бы любовно возбуждать себя, думая о том, что он, милый бедняжка Жан-Люк, вытворял со своими дружками, ибо он был настоящий голубок, порядком-таки активный, когда выпадал ему шанс, но в то же время весьма ушлый в выборе жертвы. Он, конечно, покувыркаться любил, но истинная сердечная страсть была чужда ему. Да, но с чего я это взял? Ведь я ничего не знал о нем? Нет, я не видел ни единого проявления и всё же считал, что так оно и было, и это мое представление о положении вещей возбуждало меня. На что нужно существование без возбуждения? Я предпочитал, чтобы Жан-Люк был скверным мальчишкой, вытворявшим всяческие грязные штучки, нежели этичным педиком, у которого еле-еле вставало. Нет, он был беспощадным, обладавшим особенной жестокостью, которую подпитывало безразличие. Он был жестоким, да-да, сердцекрушительным монстром, это уж будьте любезны. Потому-то я и любил его столь сильно и чуть ли не до слёз скорбел о его печальной, о столь ранней

смерти, тогда как перед ним могла бы быть целая жизнь, полная жестокости, которая сеяла бы неизбывную тоску в бесчисленных сердцах, прежде всего в совсем молоденьких, по большей части в школьниках, бывших, по сути дела, еще детьми.

Я посмотрел на это дело также и с социологической точки зрения – то бишь касательно человека и общества как таковых, и подумал о неписанной иерархии в его прекрасных Альпах. Франкофоны там смотрели сверху вниз на говоривших на немецком, и те и другие единодушно презирали говоривших на итальянском. С греховной жестокостью он, наш Жан-Люк, столь неутешно оплакиваемый нами, охмурял мальчиков-италофонов, которые были меньше него, нежнее и слабее, в основном и младше, и унижал их, бесчестил и творил над ними беззакония до тех пор, покуда они не начинали всхлипывать и плакать от боли, но ему было на них наплевать, и он как можно скорее вновь выставлял их на улицу, ибо так и нужно действовать, если ты настоящий мужик. Но вот однажды он оплошал, собираясь приударить за белокурым германским принцем из Граубюндерланда[10]; тот, в свою очередь, тоже хотел Жан-Люка, но не так, как тот себе воображал. Белокурая страстобестия договорилась с Жан-Люком, что заберет его на автомобиле, чтобы провести денек в восторгах любви на лоне девственной природы. Сей доблестный копьеносец явился на условленное место в микроавтобусе, оборудованном под караван, на окнах – шторки, которые могли открываться и закрываться. И кроме того, он привел с собой братишку, чуть помладше, но такого же рослого и сильного, – он

10 Graubunden – кантон на юго-востоке Швейцарии.

счел, что братишке тоже не грех позабавиться, обычная, значит, верная братская любовь. И он знал такое дивное, тихое местечко, и там было так красиво и такая тишина…

Итак, он направил автомобиль по узкой лесной тропинке, упиравшейся в безлюдное место – столь тесно и сумрачно возвышались там шумящие сосны. Дальше пошло само собой, поскольку братишки знали, чего хотели, и притом не спешили. О, до чего же возбудила меня эта мысленная картина, в которой я, благодаря моему дару ясновидения, мог вне пространства и времени быть свидетелем противоестественной жестокости одного, нет, двоих юных светловолосых мускулистых наездников любви, которые по очереди собирались своими восставшими от похоти, безжалостно изогнутыми любовными клинками исследовать беззащитную лисью нору своего пленника, иными словами, второй ротик милашки Жан-Люка.

Была ли такая картина морально допустима в то время, как все и каждый оплакивали трагическую смерть Жан-Люка? С точки зрения человеческой я воображал себе, несомненно, некое дурное зрелище, которое не в малой степени взвинчивало мою похоть. Человеку ведь тоже иногда надо, нерешительно раздумывал я, но это не было оправданием. И мне было бы очень жаль, если я обидел своих маленьких читателей, ибо это всё никакие не шутки. Но в то же время я хочу сослаться на свою чувствительность, которой частенько уделяют не слишком много внимания: всё-таки я глубоко, отчаянно горевал об этом бедном, милом, невинном, кротком и нежном Жан-Люке, которого смерть вырвала из рук жизни, невзирая на все

его многообещающие таланты: строитель любовных кроватей, созидатель жизнеутверждающих полотен и шахматных досок в натуральную величину, который, если бы я попросил его, несомненно был бы готов построить в моем саду для Марии, Матери Божией, часовенку, днем солнечными клетками подпитывающуюся, ночью великолепными лампадами освещаемую. Жан-Люк и всё его семейство были чокнутые, то есть прогрессивные, и вовсе не против римско-католических ритуалов и символов, просто потому что были слишком тупы, чтобы что-нибудь в этом понимать. В сущности, всё было хорошо, как оно шло, и вдруг такое. Я содрогался от сострадания и боли, но картина в лесу, которую я только начал наколдовывать в воображении, просто продолжалась как ни в чем не бывало, и, вообще говоря, мне показалось это приятным, ибо не так уж много приятного было в моей жизни. Я становился всё более одиноким и никто не любил меня – не новость, это я тоже знал, но всё равно так оно и было.

И Жан-Люк, вообще говоря, тоже мало чего повидал в жизни, я имею в виду, ни бедности, никакого юношеского невроза, никаких панических атак, никаких проблем с воспитанием, никаких войн, никогда не лежал ни в какой клинике, зато гулял на скучных вечеринках, на которых регочут над ерундой и играют в домино и маджонг под безалкогольный виноградный сок в окружении часов с кукушкой. Никаких страхов, и всем ты мил и тебе все милы. Трагического не существовало, хотя все были вольны распоряжаться собой, однако по-прежнему жили, запуская воздушных змеев и начищая альпийские рожки. Я сочувствовал ему, ибо мог бы поведать всё об ужасе и пагуб-

ности человеческого существования, поскольку много об этом знал. И тут же сказать, что обожаю его, ни много ни мало, и что он, если захочет, может связывать меня и бить. Сказать, покривив душою, ибо я, вообще говоря, тип маскулинный и сам предпочитаю бить, нежели быть битым, но любви порой приходится искать окольных путей. Да, обо всём этом думал я, но теперь он был мёртв, и наши шансы уплыли.

Также и поэтому картина в лесу, стоявшая у меня перед глазами, казалась мне весьма утешительной. Глубоко дыша, глядел я на привлекательное лицо Жан-Люка, который всё еще ничего не понимал и не осознавал, что попал во власть двух крепких братьев, не бывших близнецами, но походивших друг на друга, которые собирались вместе обратить свою жестокую похоть на беззащитное жан-люково тело, каждый в боевой готовности, только держись, но честно хотели разделить свое наслаждение друг с другом, без спешки. Поспешишь – людей насмешишь, тут я был с ними согласен.

Глава VI

Лес – это страх, и так было всегда. Идя по лесу, уже в детстве, я пугался шелестящих верхушек деревьев. Вечно они шелестели, даже когда ветра не было, и как так получалось, я не понимал. И пугался. Нет, я никогда не думал о реальной опасности, например, наткнуться на колдовского зверя или на недоброго человека, о чем меня дома серьезно предупреждали, хотя в выражениях столь щепетильных и пространных, что я ничего из них не понимал, или не хотел ничего понимать, тоже возможно, ибо сам хотел делать вещи, которые были ужасны и о которых я не мог никому рассказать – уже тогда. Я – истязатель и насильник, хотя, по счастью, не в свободном секторе, называемом жизнью, но в книгах, которые я сам написал. Нет, они не появились сами собой. Господи, куча работы еще предстоит!

Но, как я уже сообщил выше: лес – это страх, и потому он священен. Не просто так один из титулов Богоматери – *Лесная*. Крест стоит в лесу, могила находится в лесу, и из леса же вышеназванная Жена была взята в небо телесно и духовно. Лес – это таинство обреченной любви, которая начинается лаской, а заканчивается удавкой. И

лес, в самое глухое и самое темное место которого два жестоких белокурых братишки привезли в старом караване Жан-Люка, мне очень нравился. Я не был в этом лесу, но видел всё издалека, слово душа моя, невидимая, следовала за всем, что я считал достойным видеть. Они воспользовались хитростью и ложью, эти два германских пыткозверя, но то, что они собирались делать с Жан-Люком, было не ложь, но голая правда, именуемая трауром и болью, и так и должно было быть. Всё было – боль, и вечно будет траур.

Оставалось только сесть и все записать. Мне так говорили уже достаточно часто. Один инженер-строитель в некоем крупном голландском портовом городе, который, возможно, где-то у кого-то на столе видел мою книгу или слыхал, как обо мне говорили, сказал мне однажды: «Герард, ты должен написать книгу о своей юности, ей-богу, должен написать».

Нужно также быть благодарным за всё хорошее, что ниспосылается нам. Ибо Жан-Люк, несмотря на своё голубиное воркование или жизнерадостные картинки, испытал кое-что настоящее, пусть и в ловушке, но и это в счет: лучше поздно, чем никогда. Он познал любовь, встретив ее на тернистом пути. Ибо лишь тогда она открылась сама во всем своем величии и изобретательности: Божья благодать перед лицом Смерти. И эти два молодых белокурых страстобестии, бывшие братишками, служившие друг другу в вечной преданности, которые никогда не расстанутся, совершили незабываемую прогулочку, которая не стоила им ни гроша, ибо корзинка для пикника ни разу не была открыта, когда Жан-Люка, наградив его крепким тычком в ряшку и шаловливо рванув за волосы,

вытолкнули неподалеку от его дома из каравана, пропахшего похотью и содранной до крови юношеской кожей.

«К победе ревизма!» – можно было бы воскликнуть, или воскликнули бы слишком рано? В любом случае человек стоял перед неисповедимой загадкой, ибо те два восхитительных германских пыткопринца обо мне и слыхом не слыхивали, уж не говоря, чтобы что-то читали. Довольствуется вера малым[11].

11 Парафраз строки из псалма на стихи нидерландского поэта, юриста и богослова Иеронима ван Алфена (Hieronymus van Alphen (1746–1803).

Глава VII

Чем больше проходит времени, тем сильнее я ощущаю своим долгом дать достойное описание похорон бедняги Жан-Люка, которого отняли у нас столь рано и таким молодым; а почему, никто не знает. Задача эта не представляется мне приятной, и потому я надеюсь, что Вы, Просвещеннейший Друг, относитесь к этому с пониманием. Когда именно я собираюсь писать об этом погребении – дело второстепенной важности: речь идет скорее о том, как и в каком тоне я должен запечатлеть на бумаге сие трагическое зрелище. Возможно, Вы предпочтете этого не читать, поскольку Вас это пугает. Могу себе очень хорошо представить, ибо Вы более не молоды: на расстоянии и в одежде еще туда-сюда, но под ними – блеклая кожа с кислым фельдшерским душком. Вам должно быть стыдно.

И то, что Вы по-прежнему возитесь с этим Вашим ученичком, я имею в виду того мальчонку, которому еще нет пятнадцати, губя его душу и тело, – вот это переполняет меня отвращением. Судите сами: Вы боитесь рассказа о похоронах, но этот мальчик – он боится Вас, и не без причины. Да, если напоить этого простачка, то Вам удается

что-то с него поиметь, Вы мне сами рассказывали. Но родители-то его не лыком шиты, они за Вами следят. Родителей, к слову сказать, Вы знаете лично. Вообще говоря, Вы мне за молчание должны платить пристойное вознаграждение, ибо жизнь дорожает и никак не дешевеет.

Мы еще с Вами поговорим. Ведь то, что ребята в этом возрасте делают друг с другом в летних лагерях, есть невинное удовлетворение страсти их пробуждающейся мужественности: не более чем баловство. Но то, что преследуете Вы в Вашей греховной похоти, это нечто совершенно иное, заставляющее бунтовать самые глубины моей совести. И потом Ваш возраст! Упомянуть его в моей книге? Полагаю, Просвещеннейший Друг, Вы предпочтете обратное. Но к вопросу о вознаграждении, думается мне, мы еще вернемся. Кроме того, я знаю, что имею в виду. Ибо кругом цены растут, и повсюду натыкаешься на самый бессовестный обман. На днях понадобилось мне купить новый футляр для очков, ибо я свой потерял, он был в такую фиолетовую и серую крапинку, но не суть. Я, значит, купил новый футляр, самую обычную модель, ничего шикарного, просто пластик, клик – открыл, клик – закрыл, темно-зеленый. Но сколько, думаете Вы, этакая дурацкая штуковина стоила? Шестнадцать (16) гульденов, подумать только! Раньше за такие деньги можно было велосипед купить. Так что смотрите. А то приходите-ка ко мне домой и парнишку прихватите, тогда, возможно, мы найдем решение.

Но я всё-таки готовлюсь к точному и правдивому описанию похорон. Разные люди имели весьма различные чувства и соображения относительного этого предмета. Мой взгляд на сей счет никогда не был застывшим, но рос и обновлялся.

Мальчиком я находил, что смерть и погребение – это хоть и интересно, однако всё-таки весьма печально и даже страшновато. Со временем я их полюбил, потому что благодаря этому мысли мои делались всё более возвышенными. Встреча со смертью освобождала меня от высокомерия, и я начинал думать о дружбе народов и совместном строительстве лучшего общества.

И всё же прошло еще немало времени, прежде чем я осмелился прийти на кладбище без уважительной причины, ибо полагал, что этого делать нельзя, если только там не лежал кто-то, кого ты лично знал. Мое желание ступить на богову делянку со временем сделалось таким сильным, что я выдумал какого-то несуществующего мертвеца, лежавшего «где-то в южной части», в точности я якобы не знал, а звали его «Эдди Лакеманс». Благодаря этой уловке я чувствовал себя в относительной безопасности, хотя, конечно же, мог быть схвачен и уличен, дабы затем меня, закованного в цепи, могли бесчестить в темной часовне и терзать мои юношеские штуковины молодые люди в облегающих черных одеждах.

Вероятно, может возникнуть вопрос, имелся ли в этих экспедициях хоть какой-то смысл. Один-единственный определенно имелся, но это было давно. Теперь же у нас вечер накануне дня похорон Жан-Люка, и я не оставлю Вас, ибо торжественно обещаю, что дам прекрасный, почтительный и тщательный отчет об этом событии. А я, если что обещаю, то делаю, ибо таков мой характер. Но между тем я хочу отправиться с Вами назад во времени, туда, где Вы и я были немного помоложе, чем сейчас.

Я любил многих мальчиков и мужчин, некоторые из них еще живы; другие опочили. Юноша, о котором речь пойдет дальше, умер, уже давно. Его звали Ален В., и он был моложе меня, но не более чем на четыре-пять лет. Как я с ним познакомился, рассказывать не буду. Мне кажется, что не всегда нужно всем рассказывать свою подноготную. Этим могут воспользоваться с дурными целями, и уж точно в такие страшные времена, когда всякое достоинство подвергают осмеянию и пускают его на ветер.

Он, мой возлюбленный Ален, жил в Париже и был богат, в том смысле, что получал от своих богатых родителей всё, что его душеньке было угодно; я жил в Амстердаме и был беден, и пытался примириться с мыслью, что беден я буду всегда.

Мы, Ален и я, несколько раз встречались в Париже, который я в то время, как и любой другой голландец, полагал сердцем мира и фокусом гуманизма, красоты, чувств и художественного творческого начала. Я не был глуп и сейчас не дурак, но я всегда пытался считать жизнь великолепной, дом – красивым, его внутреннее убранство – уютным, а людей, с которыми сталкивался по жизни – приятными. Возможно, в этом я меньше отличался от других, нежели порой думаю. Ибо, если немного остановиться, то подумаешь о том, что молодые таланты, или те, кто себя таковыми полагает, с огромной охотою будут страдать от лишений в чердачной парижской каморке, только чтобы иметь возможность за нищенскую зарплату гладить *de costumes* в Комеди Франсез, плиссировать, заменять оторванные пуговицы и встречать в коридорах знаменитых театральных типов.

Так вот: Ален В. был богат, я был беден. Он платил почти за всё, я не платил почти ни за что, и мне это было не по душе. Не могли бы мы немного дешевле питаться и снимать более скромный номер в гостинице? Мы ведь там не жили, а всего-навсего занимались любовью, а она приспосабливается к любому окружению и цветет даже при тусклом освещении, например, в гротах, подвалах, туннелях и даже в необитаемой могиле, как я упоминал в одной книге.

Ален В. был француз, но чувствительный, и пошел навстречу моим чувствам. Так что меню наше было не шикарным, а обычным меню из кафе для простого народа, и снимали мы наш любовный уголок в дешевых, но относительно приличных гостиницах.

Как и когда парижские гостиничные номера приобрели свой ужасающий, убивающий всякую человеческую надежду характер, я не знаю. Для фильма они уж больше не нужны, ибо декорация в киностудии справляется с этим лучше.

К номерам быстро привыкают и оставляют багаж в чемоданах. Не открывают двери шкафов и ящики, ибо в ящиках можно найти только сухие апельсиновые корки. И еще нет смысла из ненужного любопытства вставать на стул и заглядывать на шкаф: смотри не смотри, в любом случае там лежит заскорузлая женская прокладка.

Мы много этим занимались, Ален и я, не распутным образом, это было скорее прижиматься, шептать и служить один другому в любви, нежели овладевать друг другом на грани жестокости. Думаю, у нас с ним была любовь. Он был худ, и это придавало ему мальчишеского и уязвимого. У него было выразительное, костистое лицо,

которое я обожал, возможно, оттого, что кости его черепа обрисовывались так отчетливо. Всю мою юность мальчики с черепом вместо головы непреодолимо притягивали меня. В постель со смертью – кажется идеальным там, где другой, может быть, и вздрогнет, но для меня в этом не было ничего особенного, ибо я с младых ногтей уже знал, что Эрос и Танатос – братишки, даже близнецы, которые очень любили друг друга и с большим удовольствием «всё делали вместе».

Мы спали, прижавшись друг к другу в скрипучем гамаке, именуемым матрасом, просыпались, тискали друг друга, причем наши ласки становились оберегающими объятиями, и вновь засыпали. Порой, лежа без сна, я в сумеречном свете, под смутное отдаленное гудение уличного движения глядел на его безмятежное лицо, светившееся умиротворением и благородством, словно ничего не могло его огорчить, и всё же я боялся. Что станется с ним, не говоря уже о том, что, возможно, ждало меня? Кто причинит ему зло? Куда мы шли?

Читатель, возможно, спросит, что за работа была у Алена, или же он вовсе ничего не делал и просто был богат? Нет, собственным трудом он на хлеб не зарабатывал, но это потому, что он еще учился. Он был в последнем классе театральной школы, потому что хотел стать актером и, если удастся, режиссером. Да, я, Герард Реве, путался с актером, в первый и последний раз в моей жизни. Но я должен заметить, что он, хотя и был актером или хотел таковым стать, ходил и говорил как обычный человек. На террасе кафе, например, он не был застенчив или робок, вроде меня, но и не пытался произвести впечатление на официанта цитатами или мудреными поговорками.

Он пару раз брал меня с собой в эту свою театральную школу, где мы ели в скромной, но очень уютной столовой. Бог мой, какие красивые мальчики там паслись! Если французский мальчик красив, то он с первым глотком воздуха уже знает, как ему одеваться. Прежде всего из очевидно потертого и неряшливого он умеет создать некое подобие сказочной униформы, от которой невозможно отвести глаз. В коротенькой рабочей рубахе и широченных штанах он умудряется сделать так, чтобы скользящий, тончайший текстиль при каждом движении до деталей обрисовывал все его области, столь важные в мужской любви. Но стоит лишь указать на него пальцем, и ты уже насильник. Надо признать, что эти типчики меня вовсе не оставляли равнодушным. Большие, влажно мерцающие глаза и небрежно спадающие на лоб, но подстриженные согласно последней моде темно-русые волосы дополняли образ, который медленно нагибается вперед или откидывается назад, но никогда не стоит на месте. Они были, вероятно, пятью-шестью годами моложе меня, но я чувствовал себя старым, хотя некоторые и поглядывали на меня с интересом, может быть, оттого, что моя германская мощь и нордическая меланхоличность внушали им мысль о собственной этнической неполноценности. Но все они, считал я, были милые мальчики, все обладали каким-никаким талантом, в любом случае его хватало, чтобы пойти во флористы.

После простого, но питательного обеда они образовывали интуитивно подковообразный уголок, чтобы поговорить по душам, причем некоторые садились не на стулья рядом с нами, но, как малолетние закаканцы, примащивались

на полу на корточках. Ален был определенно популярен, и благодаря этому я тоже заимел вес. Я со своим сильным акцентом в нужные моменты отпускал *bon mot*[12], и хохот стоял оглушительный. Нет, повторюсь: ни одного дурного слова об этих лапушках, театральных шаловливых зверятах, даже если не хватало храбрости к ним подкатиться. Они учились еще и танцам, но, слава тебе Господи, танцорами не были. Бывает и хуже, а людям свойственно об этом забывать.

После второго раза мы вместе уже театральную школу не посещали. Не оттого, что Ален был ревнив, но оттого, что он, похоже, понял, что у меня очень уж большое сердце и что я слишком много мечтаю о том, что, конечно, прекрасно и возвышенно, но нежелательно, ибо неосуществимо.

Я еще раз подведу итог той ситуации. У нас была трагическая любовная связь. Я пишу это не просто так, ибо я это знал. Как я узнал? Мы ведь оба были молоды и здоровы, оба весьма интересовались искусством, у каждого был некоторый талант – хотя в собственном я по-прежнему очень сомневаюсь – и могли остаться друзьями на всю жизнь? И у Алена была великолепная башка с копной волос, не «волосы ангела», в которых моль роится, и не шелковистые, откинутые назад, но настоящие живые человеческие волосы матроса со взывающими к поцелуям губами, или одинокого солдата. Настоящий мужчина, считал я. Воркующего голубца в домашнем халате с вышитыми драконами я мог заполучить где угодно, разве не так? И то, что он был сухощав, я счел божьим подарком. Он не принимал лекарств и никакой

---

12 Шутка, острое словцо *(фр.)*.

другой хрени, только содержимое стеклянных ампул, которое мне тоже однажды позволили попробовать. Это был невинный и, кстати, прописанный настоящим врачом тоник, потому что он страдал легким малокровием, из-за которого ему было предписано есть непрожаренное, а лучше всего сырое, с кровью, мясо. Юношу, который ест сырое мясо, не часто встретишь.

Когда я сидел и пил в Амстердаме, корпя над мировою книгой, которая, вероятно, никогда не была бы закончена, я писал ему на адрес его родителей. Он был единственный ребенок, родившийся довольно поздно. У отца его было другое имя и инициал фамилии, нежели у него, так что то, что мои письма могли быть по ошибке распечатаны третьим лицом, было исключено. Тот парижский адрес был вместе с тем и адресом фирмы его отца, одним из наикрупнейших магазинов на практически самой главной улице города Света. Более ничего не скажу, ибо не хочу никого задеть.

Ален всегда довольно скоро отвечал мне, хотя и сердечно, но не обстоятельно, ибо совершенно не был писателем. Но вот однажды ответа не последовало, тогда как я ожидал его, поскольку четко объявил о своем предстоящем приезде в Париж, дней четырнадцать после отправки письма. Он мог быть в отъезде, потому что порой уезжал из города и однажды даже получил скромную субсидию на путешествие в земли италийские или Великобританию. (У него был хороший английский, что облегчало наше общение. Такого со мной во Франции еще никогда не случалось. Но это не важно).

Так что я ждал, но ничего было не слышно. В течение долгого времени я примерно раз в месяц писал снова. Потом свернул корреспонденцию.

Если бы он был в отъезде, он должен был бы в один прекрасный день вернуться, найти мои письма и как-то дать знать о себе, так я рассуждал. Но я также не исключал возможности, что «шутки кончились», и что он встретил совершенно новую и, возможно, куда более интересную любовь, ибо такое случалось. И всё же молчание его казалось мне странным. Он не был бесхарактерным или трусливым, он очень даже был способен – в этом я был убежден – написать письмо в духе «по-прежнему желаю тебе всех благ и всего наилучшего, но не вижу смысла продолжать».

Письма мои до него доходили, и мой адрес был записан у него в книжке, так что то, что я больше ничего не слышал от него, было его личным выбором, с каковым я должен был смириться. Так устроена жизнь, и можно даже говорить о судьбе, если очень о ней беспокоишься. Это не было катастрофой, но я всё-таки был опечален.

Примерно год спустя я снова приехал в Париж. И теперь я возвращаюсь к моему интересу к местам вечного упокоения.

Я отправился на кладбище Пер-Лашез, откуда унес и из бережливости сохранил горсточку земли, каковую можно было получить у портье за чаевые. На главной аллее я сразу же наткнулся на могилу писательницы Колетт, столь сочно изобразившей, как в гостиной каждый день на своей ниточке с потолка спускается паук и пирует на донышке чашки шоколада, стоящей на салонном столике, а потом опять поднимается на ниточке на потолок. Так чудесно описано этой бесстыдницей Колетт! Кто-то говорил мне, что еще никогда не встречал (или не встречала) подобной преле-

сти на бумаге. Я решил никогда в жизни ничего из этой Колетт, или как там ее, не читать и не видеть. Имею право, загляните в Конституцию.

Но речь не об этом. Слева от бесстыдницы Колетт, через две, в крайнем случае, три могилы, в точности в том же ряду, я застыл перед новехоньким надгробием, на котором были лишь две строки: Ален В. (-) и под этим две даты, годы рождения и смерти, без подробностей. Год рождения был правильным, и год смерти в точности соответствовал тому году, в котором я прекратил понапрасну писать ему. Может быть, я сплю? Не средь бела дня, ибо такой привычки у меня не было. Может быть, это был не он, а кто-то другой? Послушайте, мы же не в фильме, а в обычной жизни. Ален жил, любил, и он умер, вот так, и кончен бал. Он даже любил меня, но теперь лежал под дорогущей и тяжеленной гранитной плитой, которую, пожалуй, в судный день на раз-два-три не поднимешь.

А может быть, я ошибался? Нет, я ни в чем не ошибался, только относительно судьбы его могилы и надгробного камня. Ибо очень долгое время спустя, более двадцати лет после того дня, я опять отправился на кладбище и остановился у места его могилы, но могилы не было. Как же так? Я ведь в своем уме, и я был на том же самом кладбище? Я рыскал и рыскал вокруг этой бесстыжей писательницы Колетт с ее рассказом о пауке, который пил шоколад, но всё напрасно. Могилы Алена более не существовало: она исчезла.

Самое простое объяснение этому было то, что когда умерли и его родители, некому стало платить за место на кладбище. Порой все обстоит куда проще, чем можно подумать.

Он любил меня, Ален, и я любил его. Он воскреснет, с могилой или без нее, в Судный день, под звуки Последней Трубы.

Глава VIII

Если человек назначает встречу и приходит на нее вовремя, я считаю это не срамом, а добродетелью, ибо я – человек старого винного года, выросший в обществе, которое было лучше нынешнего. Если, например, я говорю, что приду тогда-то и тогда-то, то в назначенное время и являюсь, если только не могу сослаться на непредвиденные обстоятельства.

В нынешние времена стало в порядке вещей являться на час с четвертью позже назначенного и еще злиться, если тот, кто невесть сколько прождал невесть чего под часами в вестибюле, в конце концов уходит. «А тебя же там не было», – осмеливается этакий тип сказать потом жертве. Вы думали, что с подобными вещами стало обстоять лучше? О нет, пожалуйста, не обманывайте себя: становится еще хуже. Такое поведение даже поощряется, потому что молодежь в массе своей находится в бедственном положении, поскольку теперь в магазинах нельзя приобрести дорогую одежду и ценную аппаратуру без оплаты, – нынче ее приковывают к стене прочными цепями и висячими замками. Для поколения, находящегося в поиске своего «я», это трудные времена. Да, а черные, у тех всё хорошо. Ибо черным позволено

избивать и грабить белых, а белому нельзя даже косо взглянуть на черного. Мир словно перевернулся, и куда мы в конце концов придем, никому не ведомо. И всё-таки, я считаю, хорошо, что кто-то что-то об этом говорит, хотя, вероятно, всё совершенно бесполезно.

Возможно, и погребение тоже совершенно бесполезно. Похоронить мертвого, конечно, это одно из Деяний Милосердия[13], но труд этот не созидательный, ибо, как только это случилось, человек оказывается там, где и был. Конечно, если при этом исполняют прекрасную песнь или несколько прекрасных песен, или, например, играет изумительной красоты музыка, и между тем звучат глубоко трогательные стихи, и если эти достижения можно зафиксировать на чувствительном материале, который способен приумножаться, тогда да, но только тогда речь будет идти о труде созидательном.

Посему, наверно, было бы предпочтительнее, если бы я как можно скорее изложил на бумаге отчет о предании земле глубоко оплакиваемого младого Жан-Люка, пока различные важные подробности за хлопотами не вылетели у меня из головы.

Ночью накануне похорон я скверно спал и проснулся поздно, хотя во времени недостатка не было. Ох, до чего же свет мне был не мил! Предстоял дурной день, я знал это, несмотря на великолепную погоду и пение наших пернатых друзей, заливавшихся трелями в ветвях деревьев.

---

13 Акты христианского милосердия, совершаемые во искупление грехов, а также из любви к ближнему: семь телесных и семь духовных. Похоронить мертвого – шестой акт телесного милосердия.

Птица поет, дабы славить Творца. Если она не укрыта от нашего взора густым кустарником, мы видим, как ее перышки в буйстве красок трепещут вместе с песней, что явственно подтверждает мои слова.

Однажды ранним летним вечером вместе с философом культуры Эдди Клейнгелдом[14] я стоял и слушал пение такой птички, и у этого Эдди Клейнгелда было совершенно отличное от моего мнение, и притом абсолютно неверное. Он полагал, что в зверюшке, то есть в этой птичке, полно всяких желёзок, которые сподвигают ее на пение, и она тем самым обозначает свою территорию и приглашает другую птицу к половому сношению. Я в это не верю, и Вы, разумеется, не верите тоже, но этот Эдди верил во всякое печатное слово, хотя и не помнил, из какой газеты или какой другой периодики он это почерпнул. Так что я сказал, что нет у этой птицы никаких таких желёзок, для этого она, вообще говоря, слишком уж мала, а вот у тебя железы есть, прямо вот в этом твоем уродском диабетическом пидорском теле, ибо ты – против Бога, а птица поет сама по себе, то есть спонтанно, целую песню Господу поет она, и никто ее этому не учил, интуитивно, стало быть, от глубокой набожности. Знаешь ли ты, что почти все птицы – католики, даже если они и не поют? Я ни разу не слышал, чтобы ты пел, ибо ты не умеешь. Ведь вот странная птица этот Эдди, не находите?

---

14 Под этим именем Реве вывел писателя Руди Коусбрука (Herman Rudolf (Rudy) Kousbroek (1929–2010), с которым вел переписку, но в конце концов разругался.

Мы в тот момент, во время разговора, возвращались пешком из гостей, с шашлыков у одного дипломатического семейства, приличных и гостеприимных людей. Мне у них очень понравилось, а Эдди – совершенно нет. «Мне там слова сказать не дают», жаловался он, то есть и это уже было плохо, я имею в виду, уже с этого всё началось. Сеять повсюду раздор, нечистые помыслы и лживые сплетни, это, разумеется, ты можешь, но нечего тогда делать круглые глаза, когда выясняется, что не всем это по душе. А для меня такая морока, что я всё это должен описывать в тот день, когда приступил к описанию трагических похорон!

Более того, это еще далеко не всё, поскольку существует всё-таки граница человеческого терпения. Ибо когда Эдди услыхал, что я завершил две трети любовного романа «Озабоченные родители» и поведал ему, что написание концовки, как всегда, требует всех моих сил, он сказал мне по телефону, что мне надобно писать книгу «в форме диска, чтобы, значит, с любого места можно было начать». И что он мне напишет письмо, в котором детально изложит, как мне нужно писать роман. Я счел, что это очень мило, хотя сам он, Эдди К., еще ни разу ни одного романа не написал. Но «диск», благодаря чему «можно начать с любого места», я нашел восхитительным и остроумным, хотя Эдди предстояло еще объяснить мне, как это делается. Впрочем, письма этого я так и не получил.

Прошло немало времени, и он сообщил мне, что вновь был бы весьма не прочь погостить у нас. Он приедет один или со своей новой женой. Один или вдвоем, значит, и то и другое – отлично. Но когда он появился в означенный день, их было не двое, а четверо: он сам, его новая жена, его арти-

стический сын Г., одетый, обутый и причесанный в стиле, именуемом *панк*, плюс не знакомый нам, но милый белокурый мальчуган, бывший чуть младше артистического сына Г.

В нашем, пока еще только частично обжитом замке (La Grâce), удобства были весьма ограниченные, и уложить спать шесть человек было весьма проблематично. Стольких кроватей у нас попросту не было, но, благодаря некоторой импровизации, каждый всё-таки получил лежачее место. Матрос Лис[15] уступил свою кровать и удовлетворился старым матрасиком на полу, и я сам спал на полу, на всего лишь вдвое сложенном одеяле, совершенно не считая это жертвой, скорее, мне даже это понравилось, ибо таков уж я есть.

Приготовление горячей пищи было также несложным делом, потому что наша маленькая семья состояла только из Матроса Лиса и меня. Но Лисенок собрался соорудить несравненный обед. Он заранее нажарил всяческой вкусноты, которая должна была войти в состав роскошного салата – не что-то горячее из чего-то холодного, вроде какашки белого медведя, но нечто холодное, которое сперва было горячим, а затем охлажденным.

Можно многими способами приготовить простую, вкусную и тем не менее питательную еду. Если этого не происходит, то вина лежит на самих людях, которые сделались ленивы и беспечны и желают есть только дорогие блюда, будучи не склонны зарабатывать деньги, необходимые для этой роскоши. Они желают роскоши, не желая за нее платить, а это, разумеется, не дело. Они,

---

15 Матросом Лисом Герард Реве называл своего партнера Юпа Схафтхёйзена (р.1948).

однако, полагают, что это как раз дело, и считают совершенно нормальным, что один работает и платит налоги, а также оплачивает шикарные и дорогие блюда за тех, кто абсолютно не желает работать, но кому прямо к двери от имени правительства в красивом автобусе (=большой транспортный автомобиль) доставляют *наркотики* (=одурманивающие средства). Это, вообще говоря, ни в какие ворота, и эксплуатация сильнее, нежели когда-либо. Порядочным рабочим с порядочными детьми приходится нелегко, но и среднему классу тоже: им что снизу достается, что сверху. Тот, кто работает, – «ненормальный», а у кого лавка или небольшое дело, на того смотрят, как на преступника. Меня эти вещи расстраивают. К счастью, я пока здоров, но врач говорит это чудо что Вы еще живы.

Однако я говорил об Этом Самом, я имею в виду о литературной нелетучей птице Эдди Клейнгелде, который в виде нежданной четверки вдруг ввалился в наше убогое жилище. Благодарение богу, что у нас всё еще сохранилась железная сковородка, которую я за гульден купил на площади Ватерлоо в Амстердаме в 1952 или 1953 году, и она была еще хоть куда. Размеров она была солидных, но с невысокими бортиками, так что еду на шесть персон в ней готовить было невозможно. Однако Матрос весело и с песней на устах принялся испекать в этой старой, но прочной сковороде, которая много лет, как верный товарищ, сопровождала нас из одной дыры в другую. О чем бишь я? О да, о том, что в некоторой степени это была проблема, – высокий визит того литературного типа, который ни разу не написал ни одного рома-

на и собирался учить меня, как я должен писать роман «в виде диска», чтобы можно было «начать с любого места».

Он, этот Эдди Клейнгелд, преисполненный воодушевления, принялся живописать мне жизненный путь одного молодого еще французского писателя, который жил в Париже, в старом доме, и намеревался написать роман. Он, молодой писатель, так всем и рассказывал: пишу, мол, роман. Потом он взял да помер, этот молодой французский писатель, но ничто не говорило о том, что он писал роман. В доме стояла мебель, и никто не знал, кому она принадлежала. Однако писатель записывал, какую он себе каждый день покупал еду. То есть благие намерения были налицо, но результатов ноль. Не страшно, разумеется, но романист, который никакого романа не пишет, представляется мне куда менее интересным, нежели романист, который всё-таки роман пишет. Был ли тот французский писатель, который не писал роман, но ежедневно записывал, какую еду себе покупал, интереснее, чем тот, который всё-таки писал – превосходную книгу, например, про любовь, или про то, как у молодых людей растет жажда счастья и защищенности? Я непроизвольно думаю о себе.

По голландскому телеящику Эдди Клейнгелд даже однажды сделал об этом *документяру*, с приятной фоновой музыкой. Сначала была показано, где он жил, писатель, стало быть, который не писал: у реки Сены, разумеется, ибо дело было в Париже. Но старых красивых домов там больше не было, они уступили место новым, уродливым. Сам писатель там больше не жил, померши. Но сохранились лавки, где он покупал еду, кото-

рую, прежде чем съесть, подробно описывал, и для этой программы их очень красиво сняли. Там можно было купить всё, выставленное в открытых ящиках под названием «стеллажи», но фрукты и овощи лежали также и на больших обрамленных подносах, и даже свежие мелкие омары и рыбешки, частично покрытые чешуйками белоснежного льда. Значит, там он покупал всё необходимое, а дома в точности записывал. Но романа или книги из этого не получилось. И для чего нужна была эта программа по ящику? Ни портрета, ни имени я сейчас не помню, так что думаю, что Эдди К. в том неписателе путем узнавания узрел себя.

Между тем невозмутимый Матрос Лис, не записывая ничего для того закупленного, пек и стряпал свое восхитительное блюдо в старой сковородке, которая была еще хоть куда. Записывать я и сам бы мог, но не видел смысла: либо ты это съедаешь, либо выкидываешь или отдаешь птицам. Если уж я что-то записываю, получается книга. Я не треплюсь направо и налево, что пишу книгу, в то время как я ее вовсе не пишу, но я пишу книгу, никому не навязываясь, просто для моего народа. Конечно же, я время от времени покупаю еду, но не записываю это, ибо еду покупают все, по крайней мере, если могут ее оплатить. И я не покупаю омаров или дорогую еду, потому что в этом нет необходимости, а человеку подобает жить умеренно. То, что я записываю – не еда, а история жизни пилигрима, скитающегося в пустыне из стекла и бетона, именуемой обществом. Дом этот – мой, и мебель тоже, так что случись моему народу и государыне лишиться меня ввиду моей смерти, фильм о том, какую я покупал себе еду, снят ни в коем случае не будет. Мои книги, возможно, останутся

интересными, моя еда – нет, ибо я каждый день ем совершенно одно и то же, с бумажной тарелки или с газеты, совсем как древние египтяне, которые, кроме лакрицы, изобрели еще и бумагу. А что изобрел Эдди Клейнгелд? Ничего, кроме нытья: клевета на певчих птиц, клевета на Бога и Его Величие, на Красоту Природы и на все книги, поистине прекрасные, потому что написаны они не интеллектуалами, но *одержимыми*, знающими и любящими человеческое сердце.

Есть еще кое-что, чего, похоже, никто не видит: если бы моллюски были редкими и, стало быть, дорогими, а устриц было бы пруд пруди и, стало быть, они были бы дешевы, то всякий захотел бы, чтобы за шикарным обедом ему подавали сырых моллюсков, а устриц считал мерзкими соплями, годными только на корм хроническим безработным. Вы видите, насколько относительны многие вещи? Люди об этом не задумываются, а ведь так оно и есть.

Я не должен зацикливаться на чем-то второстепенном в моем рассказе, ибо читатель желает знать, чем закончится этот артистический визит культурной делегации в одинокий замок La Grâce во Франции, где жили в согласии и счастии Матрос Лис и Брат Волк. Но счастье никогда не бывает безоблачным.

Эдди К. брюзжал и стенал по любому поводу, в том числе из-за наипростейших и никем не оспариваемых истин. Я питаю великое почтение к природе – еще не пантеизм, но разница невелика – и у меня на это есть полное право. Зверь – брат мой, пусть и не во Христе, не имеет значения. Зверь всегда подходит ко мне без злого умысла, потому что мы узнаём друг друга, и я читаю в его глазах

безгрешную невинность. Но что касается Эдди Клейнгелда, Природа существует лишь для него одного, и не наоборот, не говоря уж о том, чтобы он допускал, что зверушка может славить Господа. Таких людей именуют атеистами, это в наши дни позволено. Я поведал ему, что животные, которые хорошо себя вели, все на небесах – если только были не слишком крупными – получили восхитительные новые одежки, которые им очень хорошо подошли. Нет, это не так, сказал он. Что думает об этом мой Просвещеннейший Друг? Вы думаете, что в небесах всё Ваше, не так ли? А животные? Животных Вы считаете грязными, потому что они лапки не вытирают. Не нужно Вам в небесах никаких животных, только одиноких Мальчиков, в цвете лет вырванных из рук их земных матерей и обесчещенных Вами. И те восхитительные одежки, которыми Господь оделил этих мальчуганов, Вы отнимаете, поскольку мальчики эти всегда должны быть готовы и ожидать Вас нагими. Ну, я называю это не употребление, а злоупотребление, ибо это позор. Я знаю, что Спаситель мой жив, и что он убережет всякого мальчика от Ваших когтей и от Вашего смрадного серного дыхания, ибо Вы изображаете из себя чувствительного друга детей, но служите Лукавому, который есть Древняя Змея, иначе Сатана. Я могу просто избавиться от Вас, позвонив куда надо, имейте это в виду. И да, кто знает, не исключено, что это касается и кое-кого другого, кто для прикрытия разгуливает под псевдонимом Диск. Хорошенькое дельце, нечего сказать.

Но это было еще не всё. Кухня наша являлась в то же время и сенями, в которые нужно было заходить через переднюю дверь, с улицы. Дабы изба-

виться от кухонного чада, Матрос распахнул эту дверь настежь. И что же? Этот самый сын, одетый и подстриженный, как *панк*, шатался туда-сюда по другой стороне улицы. Этакий популистский мерзавец, но папаша Эдди К. обожал этого выродка и позволял ему терроризировать себя, однако тут речь не об этом.

Матрос был в кухне и стряпал нечто супервосхитительное в той прекрасной довоенной сковородке. Я ушел наверх и сидел в задней комнате первого этажа и писал: не то письмо, не то мой новый роман, уже не помню, да это и не важно. Важно то, что сей гениальный сын Г. ни с того ни с сего стал с той стороны улицы с размаху швырять камни в кухню, намереваясь, вероятно, закинуть их в сковороду, но, может быть, и ранить Матроса. Матрос, овладев собой, вышел за дверь и велел это прекратить. И надо же: гениальный сын Г. Эдди Клейнгелда прекратил швыряться камнями. Я при этом всём не присутствовал, ибо сидел наверху, в задней половине дома. Возможно, это обстоятельство спасло одну, а то и две жизни, ибо я этого гениального сына в живых бы не оставил, хотя бы потому, что в сенях стояли массивные и тяжелые садовые инструменты. Я бы не стал набрасываться на этого гениального сына Г., нет, я бы его мутузил до тех пор, пока его панковская рожа не превратилась бы в панковскую кашу, ей-богу, клянусь. Папаши Эдди К. поблизости не было, и трудно сказать поэтому, что́ я сотворил бы прежде всего с ним, я имею в виду, в качестве бесплатного довеска, поскольку я ведь был занят.

Но меня при этом не было, и только долгое время спустя после их отъезда Матрос сообщил мне об этом инциденте, и тут только стало до меня

доходить. Он, прогрессивный Эдди Клейнгелд, был и остается кайфоломом. Я не утверждаю, что это он организовал инцидент, но он его спровоцировал. Милый белокурый мальчик стоял перепуганный, как рассказывал потом Матрос. Парнишка чувствовал себя не в своей тарелке, ему явно наговорили всякого, уж будьте спокойны.

Я до сих пор молчал, но теперь говорю, хотя бы на бумаге.

Не знаю, видел ли это кто-нибудь из деревенских. Я об этом не рассказывал, но в присутствии мадам Ж. из *boulangerie-épicerie* (=булочная & бакалейная лавка) упоминал о животных на небесах, о которых Эдди Клейнгелд утверждал, что не может быть и речи о том, что Господь этим зверям всем даст новые красивые одежки. И она, лавочница, сказала: «Не понимаю, как можно такое говорить. Всякий знает, что там, наверху-то, страсть как холодно бывает?» Совершенно ничему не училась эта женщина, какая там японская математика, но очень хорошо знает разницу между добром и злом. Если бы так было во всём мире, больше никогда не было бы войны. Вот ведь срам, всё это?

Я этому делу хода давать не стал. Кстати, остались еще вопросы. Отчего тот красивый белокурый мальчик был так ужасно застенчив, почти до смерти напуган? Эдди К. напугал его? Или ему угрожал этот панковский череп, сын, мучил или насиловал? Как знать, но Эдди Клейнгелду я тем более ни капли не верю.

Я это дело похоронил, но теперь оно навсегда запечатлено на бумаге, для потомства, для моей Страны и народа.

Теперь еще одна деталь. В качестве довеска, можно сказать. Долгое время спустя, когда Эдди Клейнгелд опять заскучал, он позвонил мне, чтобы поинтересоваться, знаю ли я, что папа римский – за смертную казнь. Нет, я этого не знал. Как он набрел на это сообщение? Где-то вычитал. Где, в таком случае, в чём? Ой, да забыл он уже. Но он сам поместил это сообщение в статью, которую написал и которую напечатали в одной весьма культурной газете. Станет ли такая уважаемая газета размещать нечто подобное, не удостоверившись в его правдивости? – усомнился я. Возможно, подумал я. Вопросом этим я заниматься не стал, а сказал Эдди К.: «Тебе нужно для начала это сообщение отозвать, а потом посмотреть, где ты в точности его вычитал». Нет, отзывать его он не стал, и мне думается, что он его и не вычитывал нигде. Вот ведь странная птица этот Эдди! Просто что-то с чем-то.

Однако к этому сообщению я отнесся всерьез и обзвонил несколько католических инстанций, что обошлось мне примерно в 58 (Пятьдесят Восемь) гульденов. Никто не мог подтвердить эддино заявление. Последней инстанцией было посольство Ватикана в Гааге. После многочисленных телефонных переключений я попал на итальянца, практически безупречно говорившего по-нидерландски. Нет, не было никаких высказываний папы в защиту смертной казни. И среди католических нравственных богословов, известных моему телефонному корреспонденту, не было ни одного, кто выступал бы за смертную казнь.

Кто же был тогда за́ смертную казнь? Остается только догадываться, но у меня есть идея. Ибо от того, кто против красоты птичьей песни и против

Бога и который даже добропорядочных зверей хочет оставить умирать от холода, ну да, от такого типа всего можно ожидать. Просто продолжать работать, вот какой был девиз, в крайнем случае сделать из этого доклад, но ни в коем случае не ломать себе голову.

Я к этому времени продвинулся с моим рассказом не дальше того места, где под сияющим солнцем начинается день, в который должен быть похоронен Жан-Люк, такой молодой и таким трагическим образом ушедший из жизни. Мне нужно на похороны, и потом, это я Вам обещаю, я всё в точности расскажу, что видел, слышал, думал и чувствовал. Возможно, всё то, что я Вам должен буду затем сообщить, окажется весьма печально, но как знать, вдруг да обойдется.

И Вам, и мне нелегко, но и Богу тоже. Отчего он распорядился так, чтобы я во время того града камней сидел и писал в задней комнате, совершенно ни о чем не подозревая? Было ли это распоряжение правомерным, или оно преградило ход справедливости? Мы этого не знаем, и, возможно, никогда не узнаем. И негоже нам в греховной гордыне желать, чтобы мы знали больше, нежели Господь.

Господь одинок, и Он есть Господь Страждущий. Всякий хочет что-то от Господа, но каково Ему Самому, никто вопросом не задается. Может быть, он пьет или как раз совсем не пьет. Может быть одно, может другое. Так как можем мы судить?

Если Господь пьет, стало быть, на то есть причина.

Глава IX

Чем ближе подступало время похорон столь юного и таким трагическим образом навсегда смертью отнятого у нас Жан-Люка, тем больше я страшился этого события, возможно, из-за моей чувствительности, не знавшей различий между чужим страданием и моим собственным. Мне нужно было туда, на похороны, было ли у меня на то желание или нет, ибо тогда, когда он, наш горько оплакиваемый Жан-Люк, еще был жив, я почувствовал определенного рода тягу к нему.

Разумеется, я надеюсь, что читатели получили удовольствие от чтения предыдущих отчетов. Люди читают что-то не для того, чтобы огорчаться, а для того, чтобы получать удовольствие, под чем я подразумеваю, что литературное произведение, кроме красоты, должно обладать еще и способностью доставлять наслаждение. Как много людей, читая мои тексты, в уединении бесстыдно тискали себя? Вероятно, куда больше, чем мы осмеливаемся себе представить. Полагаю, что количество их должно оставаться в тайне – это в интересах и самих причастных лиц.

Воспоминание о голосе Жан-Люка, о его лице и формах его привлекательной фигуры по-прежнему вызывало во мне желание. Смогу ли

я получить его фотографию у несчастной матери? Попозже подниму этот вопрос. И произведу ли я хорошее впечатление, если вложу ему, я имею в виду бренную оболочку Жан-Люка, в открытом гробе в одну руку скромный круцификс (распятие), а в другую – мою не слишком недавнюю паспортную фотокарточку? Это было бы трогательно, прежде всего карточка, ибо он, возможно, в свою очередь трагическим образом тоже почувствовал тягу ко мне; как знать.

Но нет: эта полоумная банда еретиков наверняка не потерпит открытого гроба, не говоря уж о том, чтобы разрешить положить в него круцификс или фото, каким бы прекрасным оно ни было.

Я почувствовал вскипающую во мне ярость и подумал о том, чем целесообразно было бы заняться немедля. Я ведь не спешил? О нет, у меня была куча времени. Я мог вволю ходить по магазинам, приготовить подходящую для похорон одежду, купить цветы и даже съездить в часовню Пресвятой девы Фресносской[16], чтобы зажечь там две, в крайнем случае три свечи и выпить воды из чудесного источника, который помогал при болезнях глаз, хотя у меня с глазами проблем не было. И, разумеется, не пить вина, разве что после того, как всё закончится, дома, для безопасности, и еще потому, что пить дома было куда дешевле, нежели в заведении или таверне, где два долба-

---

16 Часовня Святой Девы в Марсанне неподалеку от г. Монтелимар в Провансе. Согласно легенде, в долине Фресно слепой девочке явилась дева Мария, сказавшая ей, что та прозреет, если в честь Св. Девы будет построена часовня. Девочка, напившись из источника в месте, указанном Св. Девой, прозрела, и ее отец, верный своему обещанию, выстроил часовню.

ных стаканчика вина в баре (у стойки) стоят как целая бутылка в магазине. Жадность и мелочную скупость я презираю, но тот, кто тратит свои деньги бережно, имеет право рассчитывать на мое уважение.

Однако может случиться, что кто-нибудь невольно задастся вопросом, отчего этому главному герою так неохота идти на похороны? Он чего-то боится?

Нет, это не тот случай, и я ничего не боюсь. Тут дело только в скорби, то есть тяжелом горе из-за невозвратного ухода человека, к которому питал глубокое расположение и, кроме того, желал плотского обладания им. Это ведь очень нелегко. Возможно также, что в моем случае речь шла об обычной озабоченности – из-за моей врожденной склонности к порядку и вечного трусливого ожидания: пройдет ли погребение гладко, не случится ли чего.

Интересоваться смертью и погребением я, кажется, начал еще в юном возрасте. Еще задолго до совершеннолетия я основал *Клуб Склепов*, назначением которого было устройство достойных похорон для птиц и зверушек. Могилы всегда представляли собой пирамиды или кеглеобразные возвышения, в которых должны были находиться проходы и вентиляционная труба. Они пропали, ибо всё уже перекопано, и повсюду выстроены здания, которые нынче предназначены под снос, ибо рано или поздно всё сровняется с землей.

Моя ранняя юность до сих пор еще очень мало изучена. У самого меня не осталось никаких воспоминаний о пяти первых годах моей жизни. Из моего шестого года жизни сохранились смут-

ные видения коридора, вид на игровую площадку и на балконы ряда домов, где жили люди, которых не существовало, потому что стены были из желтого кирпича; и это всё. То есть декорация, но без действующих лиц или звуков. Происходило ли в первые пять лет нечто ужасное? Я бы не удивился, окажись это так, но я ничего об этом не знаю: это не поддается историческому восприятию. Как бы то ни было, если задуматься, я прожил странную жизнь. Не исключительную, но довольно необычную – вот, наверно, правильное слово. Похоже, что в этой жизни действует провидение, не то, что помогает мне или дает совет, но то, что постоянно заставляет меня избегать чего-то, а я об этом и не догадываюсь. Жизнь мою это провидение веселее не сделало, но, может быть, задало направление. Тем не менее мы стоим перед загадкой; мы глядимся в зеркало темного разума, и я думаю, что так должно быть всегда.

Итак, я переоделся в будничную свою одежду и отправился на еженедельный утренний рынок в городок Д., на кладбище которого уже покоился отец Жан-Люка, но мне было туда еще рано: в запасе имелся не один час.

Придя на рынок, я сильнее, чем когда-либо, ощутил тяжкую скорбь, которая объемлет всякий рынок, и я не знаю, почему. Может быть, это притворные сердечность и щедрость, накладывающие отпечаток на всё, ибо любая покупка по дешевке здесь обходится дороже, чем в обычном магазине, как ни странно это звучит. По приходе домой оказывается, что ничего не подходит, а кожа является настоящей кожей меньше чем наполовину. Рыночные покупатели делают вид, что они весьма бодры, и корчат радостные грима-

сы, но непрерывно ищут глазами скамейку или ящик, чтобы присесть и перевести дух, ибо это ужас. И по меньшей мере половина того, что купил, оказывается впоследствии совершенно ненужным.

В цветочной палатке я пригляделся к выставленным гвоздикам. Они мне понравились и показались даже весьма свежими. К сожалению, большого значения это не имело, ибо с похорон не приносят домой цветов, лежавших на гробе или у разрытой могилы, чтобы поставить их в вазу с водой. Технически это, конечно, можно, но не принято.

Вообще говоря, я срезанные цветы не жалую, ибо это есть умирающие части растения, а что мне с них. Когда я покупаю цельное живое растение, я его хочу сохранить и ухаживать за ним так, чтобы оно глаз радовало. То же самое и с животными. Животное может перемещаться, растение – нет, но для меня это не имеет разницы, ибо мой девиз – уважение к беззащитной жизни. Если я покупаю живое животное, то хочу как можно лучше за ним ухаживать и надеюсь, что оно будет чувствовать себя счастливым, так что между мною и ним возникнет глубокая привязанность. Животное не должно быть грязным, ибо в таком случае это вина того, кто ухаживает за ним или, уместнее сказать, чудовищно запускает его. Животное может пахнуть, это пожалуйста, ибо запах создает глубокое доверие, так что знаешь, чего ждать. Животное, которое не пахнет – это не настоящее животное. Поэтому животному никогда не нужно мыться. Если мы, люди, подолгу не будем мыться, мы уподобимся животным и сделаемся одной плотью с ними, так что равно с ними

будем спасены, как это столь трогательно описал святой апостол Павел. Срезанные цветы, стало быть, достойны порицания.

При покупке гвоздик я замешкался. Два букета взять или три? Всего лишь один – это произведет жалкое впечатление, а я не был нищим, хотя нищенский посох, разумеется, уже был мне уготован.

Глуховатый, но всегда веселый продавец стал выбирать приятный цвет. «Они не для меня, – громко сказал я, – так что разница есть. Это на похороны, – простодушно присовокупил я, и это было с моей стороны глупо. Но продавец показал мне два букета, в самом деле превосходные. – Беру, – воскликнул я. – Давайте оба, я вижу, что они оба отличные! – Как выносят люди этот театр, спросил я себя. Плохой театр куда хуже, нежели вообще никакого. Но я еще больше усугубил ситуацию. – Три! – взревел я. – Три давайте! Один раз живем!» Неужто правда? Послушайте, мы не на евхаристическом конгрессе, но в суровой действительности спроса и предложения. Кроме того, продавец понял в лучшем случае пару слов. И он был общительный, всегда в хорошем настроении человек, уже не первой молодости и грузноватый, но с роскошной шевелюрой. Глухой – это не так уж и страшно, просто ничего не слышишь, но много ли человек от этого теряет? Нуждается ли в словах истинная любовь? Чего бы Вы хотели? Хотите сердечного дружка с лысиной во всю башку и девчоночьей пипиской, который всё слышит, или такого, у которого на голове великолепная военная копна, и еще кое-где он недурно оснащен? Задать вопрос – это ответить на вопрос, так я об этом думаю.

Но тут случилось кое-что неожиданное. Цветочник внезапно протянул мне три букета гвоздик, я расплатился, и он дал мне сдачи больше, нежели я ожидал. Как так? А очень просто: третий букет я получил за полцены, сообщил он мне.

Жизнь определенно была не холодным ужасом, как я всегда полагал: в ней всё-таки существовала человечность, когда один хотел сделать приятное другому. Рынки, праздники и другие людские сборища были пагубны и греховны, и так это и оставалось, за исключением, конечно же, церемонии Св. Мессы и похорон, при условии, что они проходили торжественно. Всякий был развращен и преисполнен греха, но в каждом человеке, да, в каждом создании божием всегда жила искра, сколь малой ни была бы она, искра милосердия, зародившаяся от Агнца и трона Его. Это было справедливо также и в отношении меня, как бы дико это ни звучало, ибо был ли я честен и правдив? Ага, сейчас! Я что, совершенно вина не пил? Я так написал, но это неправда: я выпил один-единственный стакан вина – гигантский пивной бокал, куда будь здоров сколько влезало, ибо кому нужен бокал, в который ничего не влезет. От этого впадаешь в тоску, от вина, но в то же время делаешься доступней для правды. Прав я или нет?

С тремя букетами гвоздик я поспешил домой и на время поставил их в воду в одну из громадных консервных банок, из которых хозяин кафе, что твой фокусник, извлекал зеленые бобы для своего *menu touristique*, и которые я потом вытаскивал из его мусорного ящика, потому что они были очень хорошие, и никого это не касалось. Люди вечно во всё суют нос.

Поскольку теперь у меня было три букета гвоздик, один я мог отнести Святой Деве Фресносской, что считал своей еженедельной обязанностью. Но который из трех букетов я получил за полцены? В точности я этого определить не мог, ибо они были совершенно одинаковые. Если я принесу ей один букет, это может оказаться тот самый, за полцены, так что я дам ей дешевку, а это не будет настоящим жертвоприношением. Знаешь что, подумал я, останусь-ка лучше дома до тех пор, пока не понадобится идти на похороны. Потому что тогда Жан-Люк, несмотря на то, что мертвый, получит три букета гвоздик вместо двух, и никакой речи о том, что я кого-то обижу или чего-то недодам.

Глава X

Некогда я писал, что 1966 год был злополучным годом, но абсолютно уверен в этом не был и подумал, что это мог быть и 1967. Однако я продолжал сомневаться и в конце концов предложил как 1966 год, так и 1967, то есть оба, объявить злополучными годами, ибо в таком случае мы уж точно не ошибемся. Полагаю, что я прав.

Год 1966 был злополучным годом потому, что в том году я сделался католиком, в точности не зная, хочу я этого или нет. Конечно, я думал над этим, но так толком и не разобрался. Теперь же, по прошествии многих лет, я полагаю, что это был разумный шаг. Без него я бы спился до донышка, сошел бы с ума и уж в любом случае ничего больше не написал бы. Многие важные решения я в жизни своей принимал либо слишком поздно, либо слишком рано. Однако всегда был относительно здоров, телесно уж точно, и это ценно. Разум же мой продолжал метаться, иными словами, то прилив, то отлив. Я никогда не был в заключении, только в том трагической военном 1941 году, в *Гестапо (=Тайная Государственная полиция)*. Честно сказать, напугался я до смерти. После этого никогда больше не сидел взаперти, только в

клинике, где-то с месяц, и по совпадению также в вышеупомянутом злополучном году 1966, недель шесть после того, как примкнул к Р.-К. церкви. Возможно, лучше, когда несчастья следуют чередой, нежели растягиваются на один долгий период. Это можно сравнить с тем, как человек сам производит большую какашку из говна. Это делают дома, одним махом. То есть не то, чтобы один раз испражниться дома, второй раз испражниться в публичном сортире на вокзале, а третий раз испражниться в нужном чулане у людей, к которым Вы пришли с визитом, а они сидели и только этого и ждали. Решительность, и не разбрасываться, вот о чем речь.

В клинике я боялся еще больше, чем у этих гадких немцев, по отношению к которым после войны, признаться, неприязни более не испытывал. Это по-прежнему высокоодаренный народ, с которого голландец может брать пример. У меня насчет этого есть идеи. Какой еще народ породил столько великих поэтов, романистов и философов, как наши соплеменные восточные соседи? У них есть Кант, Шопенгауэр, Майстер Экхарт и Силезиус, тогда как мы должны обходиться ищейками, имен которых я ввиду врожденной эмпатии не называю. Посему я подумываю основать совершенно новую партию, которая даст последний шанс Нидерландам. Инициалы ее названия пока что будут следующие: А. Х. Р. Возможно, я к этому еще вернусь: это не безделка, но дело, в котором наша страна и народ поставлены на карту.

Но, как я уже сказал, я попал в психиатрическую клинику большого провинциального госпиталя и не жаловался. Это было необычно, ибо голландские поэты или так называемые худож-

ники имеют привычку до посинения бухтеть по поводу ужасного ухода за больными, который они претерпевали в больнице, где их лишали коньяка, свежих устриц и икры. Экспериментальный поэт Ханс Х. осмелился на смертном одре поплакаться одной литературной газете на то, что сиделка, выгребавшая его говно, была безобразна и с лошадиными зубами. Вы скажете этот Реве опять небылиц наплел, но это не так: всякий, кто знает меня, скажет, что я еще никогда ничего не выдумывал.

Еще более крупный поэт Геррит А[17]. полагал вопиющей несправедливостью то, что директор Помпе не пускал его из дурки домой, хотя из двух женщин поэт застрелил только одну, а вторую всего лишь тяжело ранил. Была война, и в письмах его, кроме чрезвычайного жестокосердия профессора Помпе, говорилось исключительно о том, что ему не хватало курева, рацион коего для каждого голландца составлял две пачки папирос в неделю. Вообще говоря, этот профессор Помпе подумывал Геррита А. отпустить, но в последний момент обнаружил, что тот писал стихи, и немедленно постановил: «Теперь – ни в коем случае!» Времена тогда были трудные, но здравого смысла имелось более чем достаточно, и то, что Геррит А. кропал стишки, решило дело. Тем, что это были

17 Gerrit Achterberg (1905–1962) – поэт. После разрыва с возлюбленной из-за непримиримых разногласий с её отцом Ахтерберг угрожал покончить с собой, у него появились симптомы слабого психоза. Психоз обострился в 1937 году, когда Ахтерберг застрелил из ружья свою домохозяйку и ранил её шестнадцатилетнюю дочь (с обеими он состоял в любовных отношениях и намеревался после двух выстрелов покончить с собой, но оружие дало осечку). Был помещён в психиатрическую клинику, за шесть лет сменил их несколько.

вирши, профессор Помпе не заморачивался: для него речь шла не о красоте, но о безопасности гражданина.

В конце концов этого несносного рифмоплета выпустили, и он поселился в деревушке в Велюве[18], где все прониклись его скромностью и простотой. Ну, конечно, всяческие интеллектуалы, министры и статс-секретари сновали туда-сюда со страшной силой, и они вблизи могли констатировать скромность поэта, волею тиранического произвола столь долго протомившегося взаперти: однажды, прогулявшись по лесу, Геррит А. на обратном пути подсел к одному крестьянину на заднее сиденье трактора, чтобы тот его подкинул до дому, и о сем было упомянуто в газетных статьях, потому что это было так по-простому, равно как и его стихи. В стихах этих, например, было такое: что он шел за кем-то, но впереди него, одновременно то есть, и человек этот хотел или не хотел взять его за руку, которая была далеко, но «о столь близко», короче: всё в порядке, дай пять.

Его много цитировали в некрологах, что, разумеется, было почетно, но весьма накладно для родственников, ибо песни его представляли собой колонки из строчек всего в три-четыре слова, что выливалось в астрономические суммы для скорбящих, поскольку пустые пространства на обратной стороне тоже учитывались, не говоря уж о 22 (двадцати двух) процентах налога на добавленную стоимость.

Но о чем тут речь? А речь о том, что и сам я лежал в клинике, ровно как Геррит А., и тоже из нее вышел, но я никогда не примерял на себя этот его дурацкий театр – честность, простота,

---

18 Veluwe – территория в провинции Гелдерланд.

скромность и желание выдавать себя за нормального человека. И уж конечно я не сетовал на мое принудительное местопребывание: приятного в этом было мало, но за мной хорошо ухаживали.

При выписке я прошел тщательное физическое обследование, показавшее, что никаких отклонений у меня не было: даже печень не пострадала. С душою моей обстояло плохо, но тут ничего нового не было: наследственная хандра и тяга к саморазрушению. Это не мелочи, но с тем же успехом я мог бы быть личностью жизнерадостной, и тогда умереть было бы даже лучше.

Исследование состояния моей души происходило путем нахлобучивания мне на голову сушильного капюшона, с целью сделать *башкограмму* моих мозгов. Аппарат выдал карту с зигзагом, который мог быть истолкован неврологом.

– Что машина говорит? – полюбопытничал я, но при этом был живо заинтересован. Невролог сделал серьезное лицо.

– Патологическая субструктура, – сообщил он.

– Слава тебе Господи, – сказал я. Признаю, что это, вероятно, было слишком фривольно.

Невролог рассердился.

– Не думайте, что вы – этакий Ван Гог, – попенял он мне.

Я ничего такого и не думал, но некая правда в этом присутствовала. Защита моя была слабой, но ответ имелся наготове, как у того бухгалтера, который сказал своему начальнику: деньги может и да, но вот ответа я вам ни разу не должен.

– Неправда, – нагло сказал я. – Ван Гог был серьезно сдвинутый, а я просто обычный шизик, делов-то. Только сертификата у меня нет, потому что не выдают.

Вам, возможно, всё это покажется страсть как потешно, но задумайтесь также о напастях, разрушении и буйстве, с которыми персонал, доктора и медсестры изо дня в день сталкивались до такой степени, что порой забывали, как их звать.

Под конец невролог сказал еще кое-что позитивное, смотря как на это взглянуть.

– Нужно, чтобы рядом с вами была женщина, – сказал он. – Как вы на это смотрите?

– Нельзя так с женщиной поступать, – ответил я спокойно, но весьма решительно. Ведь это же правда?

Речь идет о том, что делает из этого человек, ибо в этой хандре и саморазрушении и «субструктуре» в самом деле таится музыка, которую я люблю: не «Хор рабов[19]», но ария *I know that my Redeemer liveth*[20] из «Мессии» Генделя, различные мадригалы Монтеверди или *Stabat Mater* Перголези, который волею судеб тоже умер молодым; просто долгий моросящий дождь после полудня, когда ничего не происходит. Однажды всё замирает, и так и должно быть.

В клинике я всякого натерпелся, но почти ни о чем не решаюсь написать. Никому нельзя рассказывать то, что видел в аду. Но был один анекдот, весьма забавный, и я думаю, что не могу оставить Вас без него.

Я был под наркотой, так это называется. Не без сознания, но практически не мог двигаться и почти не мог говорить, хотя всё видел и слышал. Я

---

19 Из оперы Верди «Навуходоносор».

20 «Я знаю, жив мой Искупитель» *(англ.)*.

лежал один в маленькой палате, и посещения без предварительной договоренности не разрешались. Правило это строго соблюдалось.

Раза два в день приходил кто-нибудь делать мне очередной укол, и мне нужно было пить фруктовый сок или воду. Но эти случаи я забывал, так что очень долгое время думал, что меня по несчастливой случайности запихнули в кладовку и забыли там; в моем представлении мира картина не слишком исключительная. Я смотрел в потолок или на верхушки деревьев за окном и не испытывал ничего, кроме страха; ибо и то и другое, потолок и деревья, были Смертью. Это случалось со всеми, рано или поздно, и теперь был мой черед. Я всегда был согласен с этим, но теперь, когда всё зашло так далеко, я этого не хотел. И страх всему этому бреду не способствовал, он грозил убить меня, сейчас или в течение нескольких часов.

День был еще в разгаре, когда я заметил, что кто-то вошел, не врач и не персонал, но некая фигура в штатском, которая медленной, осторожной поступью направилась к моей постели. Это был мужчина, еще довольно молодой, в серебристо-сером, изысканном костюме, хорошо сидевшем на его худощавой фигуре. И тут я заметил в его руках некий продолговатый предмет, обернутый в пеструю бумагу. В нескольких шагах от моей постели он остановился.

И тут было странно, что я не испугался, потому что, как выяснилось позже, не могло быть речи о призраке или галлюцинации. Посему я испытываю некоторые колебания, рассказывать ли, что было дальше, ибо на что Вам описания такого состояния белой горячки, в которой никакие летучие мыши со светящимися глазами и окровавлен-

ными мордами не шныряют со свистом вокруг пациента, и в которой никакие демоны в образе гигантских саламандр с их острыми как бритва когтями и чадным дыханием не карабкаются на его постель? Я глубоко сожалею и считаю ужасным, что таких видений у меня не было, тогда как их иметь полагается. Могу только предложить Вам молодого худощавого человека, в переносном смысле, разумеется, и у человека этого не было окровавленных острых зубов и никакого мертвенно-бледного лица: я бы скорее сказал наоборот, о чем позже. Геррит А., Вы помните, простой поэт, во всём такой простецкий, он наверняка был готов примчаться, дабы подержать и в то же время не подержать мою руку и в то же время перед кроваткой моею постоять, и за нею, и то и другое разом, стало быть. Ибо этот Геррит А. отсидел в настоящей клинике с решетками, почти без курева, но в одиночестве, поскольку пиф-паф-пуф пристрелил полторы женщины. Теперь этот Геррит А. мог летать по воздуху, уверяю Вас! *Auf Flügeln des Gesanges*[21], потому что вот такой простецкий он был. Так могло быть, но не было.

Смотрите, как дело обстоит: за демонами, посторонними чудищами или другими громилами в клинику ходить не надо: их и дома хватает. Могу привести Вам пример. Когда Вы идете в сортир, демон сидит себе на краю толчка и вопит: «Ничего не выйдет не выйдет ничего ты не можешь!», так что продолговатый продукт плоти и в самом деле поворачивает назад или обламывается на полпути. В то же время, словно в фильме, звонят в дверь. Поскольку Вы находитесь на верхнем этаже, то просто поднимаете раму и высовываете

21 На крыльях песни *(нем.)*., баллада Г. Гейне.

башку наружу. И немедленно Вас снизу обстреливает Ката Пульта – странным снарядом, который шлепается в стену совсем рядом с Вашей рожей. С тем же успехом он мог заехать Вам в глаз. Вот так это происходит, но Вы-то тут при чем, Вы сидели себе на толчке и в окно свою драную лисью нору не высовывали: о возмездии или нравоучении речи быть не может.

Но представьте, что в дверь позвонили и Вы подумали: пойду схожу вниз, подумаешь, всего-то пара ступенек. Итак, Вы спускаетесь вниз и открываете дверь. И кто же там стоит? Грязный бородатый мужик, дующий в окарину (=свинья-копилка с дырочками). Но это не всё. Нет: у него еще есть тележка с лошадкой, и то, и другое, однако, очень маленькое: настоящая живая лошадка, впряженная в такую же маленькую тележку. На тележке этой лежат мешочки, а в мешочках – конфетки от кашля. И мужик хочет продать Вам эти конфетки. Один мешочек стоит столько-то, но три мешочка Вы получите по цене двух. Вы думаете как мне от него избавиться я же ничего такого не сделал. Ладно, пусть будут три мешочка, а то вдруг война, кто его знает. Вы платите, Вы получаете три мешочка, и мужик корректно отсчитывает Вам сдачу. И что, уходит он после этого? Не всё так просто. И мужик, и лошадь и тележка еще некоторое время остаются стоять. Лошадка задирает хвост, и под ним становится видно нечто вроде кулака, который раскрывается и из которого серия хорошеньких смокв патс-патс-патс образует на Вашем крыльце аккуратный холмик. Когда лошадка свое дело заканчивает, кулак убирается обратно и хвост опускается. Цок-цок-цок, все трое отбывают восвояси. Лучше ничего не говорите. Вообще говоря, Вам еще повезло, вот если

бы это была обезьянка, большая собака или человек, вышло бы куда хуже. От травоядного это не гадко, и если у Вас есть садик с цветами и кустами, они это весьма охотно употребят, только подайте блюдо горячим.

Теперь продолжаю с того места, на котором остановился, ибо тот молодой человек в красивом серебристо-сером костюме, вошедший в мою комнатку практически бесшумным шагом и застывший в паре шагов от моей кроватки, разумеется, пробудил Ваше любопытство. Таким образом, он был молод, хорош лицом и с изящными кистями рук. Волосы у него были темные, лицо и кисти рук тоже были смуглы, или, лучше сказать, с оттенком. Да, конечно, никаких сомнений не было: это был индиго, как их вульгарно называют, иными словами *индо* или *плоппер*[22].

Я раскрыл рот и попытался что-то сказать, но у меня ничего не вышло, хотя я смог одобрительно кивнуть. Был ли он, тот молодой человек, сама Смерть? Тогда я охотно пошел бы с ним. Красивый мальчик, такие на дороге не валяются, и по мере того, как человек старится, ему всё больше и больше требуется помощь. Под этим я не подразумеваю, что в моем состоянии мог быть способен вынести хоть какое-либо суждение или что-то понять, но его появление успокоило меня. Думаю, что я чувствовал себя животным, которое из-за болезни или слабости сделалось беззащитным и видит, что к нему приближается человек с добрыми намерениями. Ибо животное это знает, из-за тайного знания, которое еще не разгадано.

---

22 В индонезийском языке это слово означает «борец за свободу», в нидерландском одно из значений – «вантуз». Презрительное название индонезийцев в Голландии.

Молчаливый посетитель мог оказаться полукровкой, между тем как он был принц крови, столь же жестокий, сколь нежный, и до смерти преданный любому белому, который когда-либо его любил. Не помню, чтобы я лелеял эти мысли, но они определенно у меня были. И теперь всякий может сказать ты галлюцинировал ибо ты видел его не по-настоящему, но подобного сорта разрушительную критику я не люблю. Он был настоящий, и он любил меня, иначе не пришел бы. И верный джонгос[23] не обманулся: ведь в отделении не было другого белого поэта города и деревни, который был бы благословением для своего народа и которого бессчетное количество женщин носило бы на руках? Или Вы иначе думали? И подумай о том, что ты, Просвещеннейший Друг, что ты со своими римскими кощунственными когтями должен держаться подальше от него, от моего благородного этнического Принца, который был Смерть и который по-прежнему любит меня и остается верен мне, где бы он ни обретался. Да направит Господь стопы его, ибо он не есть нечестивая нелетучая птица, подстерегающая мальчиков, и не скрытный прохиндей вроде Вас: он не ходит, нет, он *ступает*. И если Вы осмелитесь встать на его пути, он схватит Вас и отрубит Вашу штуковину или вырвет ее с корнем из Вашего развратного паха. Наша помощь – в имени Господнем, иными словами: больничная касса ни цента не заплатит.

Но людям вечно нужны доказательства. Ну так вот: я лежал там в постели уже дня три, и всякому известно, что чем меньше пациент в состоянии пить, есть или хотя бы куснуть, тем больше

23 Индийский слуга.

распухает его бумажная корзина с фруктами и тем выше вырастает над ней вавилонская башня из леденцов и экзотических орехов. И я видел, как мой братишка-индиго, Раб и Хозяин, положил во фруктовую корзинку на моем ночном столике тот принесенный им продолговатый предмет, завернутый в пеструю бумагу. Он по-прежнему не произносил ни слова и через несколько мгновений исчез.

На следующее утро я чувствовал себя более внятно и мог двигаться. Я даже смог сесть. И да, сверток всё еще был там. Подарочная бумага в цветочек оказалась пакетом, из которого я извлек на свет божий бутылку дорогого коньяку. Довольно своеобразный подарок для человека, лежащего в госпитале с алкогольным делириумом. Но цветы завяли и фрукты сгнили, тогда как крепкий напиток всегда оставался хорошим.

Я очень много размышлял, это я помню. Сперва я подумал я знаю что Спаситель мой жив. С этого началось. Потом я подумал я знаю что мой Смуглый Принц-любовь будет ждать меня и я – его, здесь или на том свете, где Любовь и Смерть становятся одно в вечном Таинстве. И будет видно, как ангелы отмывают нас и мы вновь делаемся юными и чистыми и поедаем рисовую кашу серебряными ложками. И смыкаются небеса.

Глава XI

Мне это стало надоедать. Я имею в виду, что внезапно мне расхотелось присутствовать на проводах этого трагически погибшего Жан-Люка: так или иначе, как-то я больше был не настроен.

Были еще всякого рода странности. Фатальный несчастный случай, от последствий которого в конце концов испустил дух несчастный Жан-Люк, произошел по вине молодого человека, слывшего психически неустойчивым и ментально деструктивным. Как попали ко мне эти сведения? А вот так: после похода на рынок, где я купил похоронные цветы и, к счастью, ничего другого, я зашел в хозяйственный магазин Шарра́, существованию которого в будущем году исполнится сто лет, но это к делу не относится: я пришел просто кое-что купить, помнится, связку деревянных прищепок, ибо они служили гораздо дольше синтетических, какими бы красочными те ни были. Мосье Шарра, потомок основателя магазина, был протестантом и о семействе швейцарского пастора Н. знал побольше моего; и он поведал мне, что молодой человек, наехавший на автомобиль Жан-Люка, после происшествия повел себя грубо по отношению к жандармам и как мог, саботировал состав-

ление протокола. По мнению мосье Шарра, ему светило заседание *трибунала*, но сомнительно было, что этот жестоковыйный молодчик там появится.

И было странно, что к моему негодованию из-за такого наглого пренебрежения правосудием добавлялось иное чувство, которое я ни в коем случае не одобрял, но тем не менее оно имело место быть. У меня насчет смерти Жан-Люка внезапно появились дурные и греховные мысли в роде: каждый получает по заслугам, или: ты сам ведь напросился? И: вы же ведь такие либералы? Серьезно скорбных духом и опасных *junks*[24] нельзя сажать под замок, считаете вы, а им же нужно как-то самовыражаться, – да, если только насилие не затронет тебя, твой дом, твой автомобиль или твоего ребенка? Ведь так?

Нет, я не буду тут давать политический (государственно-правовой) комментарий, ибо искусство не имеет ничего общего с политикой. Я только хочу упомянуть, что я уже тогда, будучи из молодых да ранних, ненавидел всё, что именовало себя прогрессивным (передовым), пацифистским (долой нас!) или Укулеле (Всемирный совет) Церквей; этот Совет чествуется властями социалистических стран всего мира, там, где христиане подвергаются массовым преследованиям. Нет, укулелистические апостолы мира делали это не ради денег, как честные преступники, но просто так, по убеждению и из любви к человечеству.

В своих роскошных гостиничных апартаментах они дрочили и кончали при мысли о свидетелях веры, которые медленно умирали от пыток в тюрьмах или голодной смертью в лагерях. Внима-

---

24 Торчков *(англ.)*.

ние: я всё еще не о политике, но об одобренных Мировым советом страданиях и смерти многих сотен тысяч невиновных людей, которые, нота бене, поклонялись тому же спасителю, что и пастор Виссер ‘т Хофт[25]. Сему рыбачку[26] в Москве были вынуждены оказать срочную медицинскую помощь, поскольку у него в гостиничном номере во время передовой *masturbatio sine qua non*[27] яйца разбухли до опасных для жизни размеров: такое наслаждение он получал от мыслей о медленно истязаемых хористах и христианских юношах.

Как мне всё это пришло в голову? Не случайно: Жанна, несчастная мать Жан-Люка, после смерти мужа, швейцарского, стало быть, пастора, которого Вы точно вспомните, ибо он был такой жизнерадостный, подарила мне его книжку, или толстую брошюру, и в этом документе пастор описывал

---

25 Willem Adolph (Wim) Visser ’t Hooft (1900–1985) – теолог, первый генеральный секретарь Всемирного совета церквей. Под руководством Виссера Хофта Всемирный совет церквей был расширен за счет многочисленных церквей развивающихся стран и коммунистической Восточной Европы. Во время Второй мировой войны Хофту из нейтральной Швейцарии удалось сохранить контакты между церквами, находившимися в воюющих странах. Он также способствовал секретному потоку сообщений между сопротивлением в Нидерландах, королевой Вильгельминой и правительством в изгнании в Лондоне и помогал людям, бежавшим из нацистской Германии. Он был конечной точкой линии сообщений голландско-парижской подземной сети, также известной как Швейцарская дорога. Почетный профессор Теологической академии Русской Православной Церкви в Москве.

26 Visser *(нид.)* – рыбак.

27 Sine qua non *(лат.)* – необходимое условие; букв. «то, без чего невозможно».

свои поездки в страны Восточной Европы, где христианская церковь подвергалась кровавым преследованиям или по крайней мере террору, но в его книжке об этом ни словом не упоминалось. Напротив: нигде не были христиане столь счастливы, как там, так явствовало из текста, проиллюстрированного фотографиями церквей и соборов. Прежде всего в Румынии с верой всё обстояло первый сорт. То, что карпатская рожа Ка Эску (или что-то там в этом роде) ежемесячно приказывал разрушить то церковь, то собор, неважно, в четырнадцатом ли веке она была построена или в девятнадцатом, – нет, об этом жизнелюбивый пастырь ничего не знал. Можно сказать как такое возможно, но всякое можно: ведь наша возлюбленная государыня принимала этого Мафиякеску во дворце и с большой помпой и посвятила его в рыцари? И это при том, что Её Величество отказались встретиться с папой римским во время его визита в Нидерланды, Бог знает почему – наверно, из-за сильной занятости.

Однако не будем дурно говорить о нашей государыне, ибо она воплощает в себе самосознание нашего народа, и, принимая во внимание тот факт, что Голландия превратилась в огромный сумасшедший дом, каждому гражданину, то есть также и монарху, надлежит оставаться преданным эмоциональным ценностям страны и народа. Голландия – тюрьма свободного режима, ибо, согласно директору Психиатрической Больницы Велдвейка[28], всего лишь треть голландского населения – шизофреники. Я уже слыхал об этом до того, как он мне это рассказал, но потом поду-

28 Veldwijk – деревушка в муниципалитете Bronckhorst в провинции Gelderland.

мал: возможно, это слишком заниженная оценка. Неужто я угодил в этот рехаб, потому что хотел проявить солидарность с моим народом? Тогда наша правительница должна взять с меня пример и, подобно мне, как можно скорее записаться на прием. Ее все знают, так что не нужно даже звать барышню Анни.

Но речь шла не об этом. Наша возлюбленная правительница печется о нас и заботится о том, чтобы дождик шел, и в этом она скорее чересчур щедра, нежели чересчур скупа. И не угодно ли было Ее Величеству на моем последнем юбилее, вдобавок к званию Рыцаря ордена Оранских-Нассау, коим я уже был награжден, повысить меня до чина Командора упомянутого ордена, в этот раз даровав медалью чистого золота, с изящными, великолепно оправленными драгоценными камнями? Она, стало быть, есть Страноправительница, глубоко сознающая свою со-ответственность за дружбу народов. И тюрьма свободного режима, которой она управляет, это же ведь дивная страна? Мы можем днем запросто выходить на улицу, например, за покупками? Ну, конечно, сунув в карман заряженный револьвер, но его Вы можете попросту взять в редакции, если купите годовой абонемент и спро́сите барышню Анни, в точности как в магазине весьма подержанных зверей.

Всё это весьма славно и приятно, но речь о том, что я больше не слишком переживал из-за всей этой полоумной компании. Да, конечно, я думал об одежде Жан-Люка, тем более что не было другого сына, который мог бы эту одежду унаследовать. И не успеешь обернуться, как ее уже отдали тунеядцам-иноземцам, которым она сто лет не нужна,

но они не моргнув глазом продадут ее на рынке по цене, которая, кроме того, принесет им чистую прибыль, просто потому, что они такие бедные и в обществе подвергаются сильной дискриминации. Тут я полностью на стороне героя (главного действующего лица) моей книги «Озабоченные родители». Она очень хорошо расходилась, ибо люди охотнее покупают захватывающую и щекочущую нервы книгу, написанную порядочным трудолюбивым юношей из народа, нежели каким-то типом, своему народу чуждым, который использует смерть юноши, дабы выманить у скорбящих его одежду, не из-за нужды, а чтобы продать ее. (Да, эта книга, «Озабоченные родители», в самом деле великолепная, такая чувственная, и так приятно ее читать.) И шмотки эти жан-люковы были довольно-таки дорогие и, как на грех, отлично бы мне подошли.

Но я, сидя в ожидании и размышляя, – поскольку на похороны идти было еще слишком рано – вновь вернулся мыслями к обоим злополучным годам: 1966 и 1967. О 1966 я писал, а вот о 1967 еще нет. Был ли 1967 действительно злополучным годом? Я разработаю эту тему, а там посмотрим, ибо время у меня есть, как и тогда. Ибо что касается меня, этот Жан-Люк мог оставаться покойником хоть до посинения: тут уж ему самому решать. И мой отчет о его похоронах действительно был потом написан: Жан-Люк несомненно уже лежал в своем гробу, закрытый крышкой. Я подумал – спешить особенно некогда: что в кубышку мы кладем, пригодится на потом.

Так вот: с какой беды начался злополучный год 1967? Беды начались не вдруг. Поскольку я лежал в клинике, хотя и без решеток, но всё-таки

в настоящей клинике для настоящих психов, у которых шарики заехали за ролики, я некоторое время прикидывался смирным: как можно реже выходил за дверь и мало-помало подошел к моей истории. Так что в злополучный год 1967 я вступил, полный уверенности и с песнью на устах, ибо просто хотел быть человеком, который не избегал сражения с жизнью. Хорошенько кулаками помахать, когда надо и не надо, потому что всё спускать нельзя. Трудная жизнь была у меня, всегда, и если бы я Вам рассказал всё, Вы бы сказали как такое возможно я поражаюсь когда читаю что на долю этого мужика выпало: тут не только ведь его вина? Я лично считаю, тут речь о том, переживаешь ли ты что-либо. Ты хочешь, конечно, чтобы никогда ничего не случалось, но тут не тебе решать. Так говорит и поэт Гораций, который потом открыл процветающую цирюльню: *Ducent volentem fata; nolentem trahunt*[29]. Иными словами: *На тебя же всю вину и свалят.* Единственный римский поэт, который меня в гимназии интересовал, но тут это ни при чем, хотя, конечно, он был на сто процентов прав.

Бедствие началось на заседании редакции литературного ежемесячника «Тирада». На журнале этом лежало проклятье, хотя к учредителям упомянутого журнала я не принадлежал. Я уже прежде кое-что узнал о планах, которые бурно обсуждались в издательстве Ван Орсхота[30]: журнал будет публиковать выдающиеся литературные работы,

---

29 Покорных рок ведёт, влечет строптивого *(пер. С. Ошерова).*

30 *Tirade* – литературный журнал, основанный асмстердамским издателем Гертом Ван Орсхотом в 1957. До сих пор выходит в учрежденном им издательстве.

имеющие значительную культурную ценность. По случайности или по исключению я в рождении детища участия не принимал. Однако до того я, хотя меня никто за язык не тянул, кому-то сказал, что название «Тирада» считаю весьма неудачным, потому что никто никогда не будет принимать этот журнал всерьез. Было ли у меня на уме название получше? Да, конечно: «Гражданин», сказал я застенчиво. Что? Как могла мне прийти в голову такая нелепица? Издатель, сотрудники и читатели – они же ведь не граждане? А кто же они тогда, хотел бы я знать. Все как один художники? Господи, спаси и сохрани нас. Ну ладно, хорошо, пусть художники, но разве художники – не граждане? Ведь у них, как и у всех, было избирательное право, свобода вероисповедования, собраний и ассоциаций? Или они стояли выше других, потому что покупали вещи, не платя за них – даже если деньжата у них водились – просто из принципа? Ну, ищите-ищите, подумал я, авось найдете что-нибудь. «Живой Футбол», еще подумал я, или «Индивид», ибо членов редакции можно было спокойно одного за другим называть *индивидами*. Это были люди, которые весьма радели за народ, но это Вы уже и сами поняли. Потому было немного странно, что они хотели, чтобы я работал в редакции, и поручили мне редакционный секретариат, pro deo, ибо я ничего за это не получал, хотя на почтовые марки деньги выделялись. Увлекательное это было время.

Но какое событие возвестило начало моего злополучного года 1967? Очень просто. Как Вы помните, в 1966 г. я примкнул к Р.-К. Церкви, и важные люди этого не одобрили. Я не что попало болтаю: крупный писатель Симон Вестдейк, кото-

рый 17 (семнадцать) лет подряд *не* получал Нобелевской премии – прямо-таки рекорд, стало быть, и ведь свою благодарственную речь для Стокгольма уже давным-давно заготовил, – так вот этот самый Вестдейк думал, что я как писатель кончился. Я был более «не дискутабельным», так это называлось, кратко и сильно, поистине высказывание человека с характером. Мой Ученый Полубрат[31] – о котором позже подробнее – счел мое вступление в Церковь «непонятным», что очень даже понятно, ибо сам он частенько появлялся в телеящике, как именитый ученый, причем обо вся и всём, если его спрашивали, отвечал, что он «не знал». Я это делаю иначе. Я по кинескопу говорю, что я это знаю, из любви и уважения к зрителю, ибо того, кто этого не знает, можно на каждом углу встретить. Я помогаю людям развеяться, даю душевный подъем и поддержку в вере, ибо общество, подобное нынешнему, принимает пугающие пропорции.

Но короче: редакция «Тирады» призвала меня к ответственности, потому что я пошел в римские католики. Может ли человек, сделавшийся католиком, оставаться после этого членом редакции «Тирада»?

Хенк М., человек довольно эрудированный, который вполне умел читать и писать и всегда представлявший интересную рубрику «Современники», глядел на меня во все глаза, излагая, насколько серьезной была ситуация, ибо теперь я не мог писать, что хотел, потому что с этих пор Р.-К. церковь будет пристально следить за мной. Я наделал массу диких вещей, прежде чем сказал

31 Так Реве иронически называл своего родного брата Карела.

себе, что да, конечно, это было странно, но опять же, это было что-то новое. Спустя многие годы я по-прежнему думаю, что поименованный Хенк М. верил в то, что говорил, и что он на полном серьезе переживал по поводу опеки, которую собиралась учредить надо мною Церковь Рима. Он тревожился, ибо любил мои книги.

Что говорили другие присутствующие, я уже не помню, но, предположительно, это была та же самая песня. Думается, что общество насчитывало человек двенадцать, и все культуртрегеры. Некоторые были не редакторы, а простые сотрудники; это по большей части означало, что они обещали внести свой вклад в виде статьи или пробы пера. Сии редакционные заседания, в сущности, являлись открытыми собраниями, добро пожаловать, психопаты.

Удивительно, что я, кроме бравого Хенка М., помню всего лишь трех других типов, и ни один из этих троих ничего не сказал. Возможно, троица запомнилась мне оттого, что казалась жутковатой. Они и в самом деле были чудовищно безобразны. Безобразный человек и работу свою делает безобразно, это мне снова и снова бросалось в глаза. Под безобразной работой я подразумеваю не просто плохую работу, а умышленно плохую работу, исторгшуюся из скверного человека, который желает причинить зло другим, ибо состоит на службе у Сатаны. Трусливый, вздорный и подлый: вот его приметы, порой с предостерегающим довеском в виде дурного запаха тела. (Диалог: «Слышь, у тебя что, задницы нет? – А чего? – Да из пасти дико воняет»).

Нет, я еще не закончил, я только начал. Захлопнулась дверь – лезь в окно теперь. Я же перед ней только посижу.

Как, вообще говоря, я сделался католиком? Тут по-разному: я имею в виду, у одного получается так, у другого эдак, то есть не всегда у всех одинаково. Многие художники были католиками, этому есть свидетельства, и многие художники католиками не были, но стали ими. Существуют также художники, которые никогда католиками не были и никогда ими не стали, но тем не менее сотворили прекрасные вещи. Так что никой тут проблемы нет, если только сам эту проблему не выдумаешь.

Но кто там вообще ходил на эти редакционные заседания, я уж и не помню, кроме тех троих, которые ничего не говорили, хотя и поглядывали на меня сердито. Будет ли это нескромно, если я назову их имена? Всё это так печально, и я думаю, что никто не захочет об этом говорить, и ни в одной газете об этом не напишет, ибо в газетах пишут только о разных приятных вещах, таких, как самодельная мастурбация или самодельное современное искусство, так сказать, один черт. Господи боже мой, как же я был зол.

Три молчаливых личности были: Ад Нёйс[32], Ремко Камперт[33] и Кес Фенс[34]. Этот Ад Нёйс был псих, как и я, но я из этого творил музыку, а он нет. К тому же он был еще и женат на Ренате

---

32 Adrianus (Aad) Nuis (1933–2007) – политолог, филолог, литературный критик, режиссер, журналист, обозреватель, эссеист, публицист, поэт и политик.

33 Remco Wouter Campert (р. 1929) – поэт, обозреватель, писатель. Участник литературного движения пятидесятых годов.

34 Cornelis Walterus Antonius (Kees) Fens (1929–2008) – литературный критик, эссеист и филолог.

Рубинштейн[35], жуткой ведьме, от которой исходил странный запах смерти. Этот смертный душок, – на основе ацетона, но куда хуже, – она переносила и на него, ввиду их обоюдных сношений. При разводе он этот смертный дух получил в виде компенсации за приданое, дабы сохранять его по сей день. Когда бы он ни встречался мне, везде и всюду устраивал склоки, и с ним случались приступы ярости; при этом трупный запах его тела наполнял собой всё помещение, но никто не осмеливался слова сказать. Он был против Устройства и против Установленного Порядка, и периодически являлся в издательство Ван Орсхота кляузничать, если кто-нибудь написал в «Тираде» что-либо непочтительное о том или ином заморском демагоге. Именем народа и для народа, народ у кормила власти и подобного сорта хрень, но этот его душок оставался при нем. Это был не только ацетон: в нем слышалась еще эссенция завалившейся за холодильник и забытой там селедки.

Но на этих собраниях он держал себя относительно спокойно, хотя и поглядывал на меня с большим недовольством, потому что я пошел в католики и весьма радел за установленный порядок, а также за искусство, если оно действительно того стоило.

Ремко Камперт тоже был человек не утомительный. Он ничего не говорил, и если его о чем-то спрашивали, издавал только неразборчивый слюнявый свист.

---

35 Renate Ida Rubinstein (1929–1990) – писательница, журналистка, колумнистка. В 1977 у нее был обнаружен рассеянный склероз.

Подальше от центра собрания сидел Кес Фенс в этих своих треснутых мертвяцких очках; он почти всё время молчал. А если говорил что-нибудь, то пояснял свою мысль, изображая руками в воздухе игривый шрифт брайля, что то-то было так-то, но в сущности было не так. Этот воздушный шрифт он потом довел до истинной партерной акробатики. В одной недавней ночной телепрограмме он разглагольствовал, что означают для него книги. Книга, которая *была* нечто; книга, которая *означала* что-то; книга, в которой было нечто прекрасное; книга, взяв которую в руки, уже не выпускаешь. Я задался вопросом, брал ли он в руки когда-нибудь что-нибудь другое, всё, что угодно. Мне он – хотя доказательств у меня нет – казался католическим пронырой: трусливый, скрытный, клеветник и интриган, сжевавший до гнили коренные зубы, потому что жрал облатки. На собраниях «Тирады» он рот на замке держал, но между тем! Я как-то наткнулся на него, и он сказал мне не понимаю что ты против меня имеешь я же ведь ничего такого о тебе никогда не писал? «Вот именно поэтому!» – был мой ответ. Просто бить, если возможно, разить наповал, таков мой девиз, ибо всего этого становится через край. У Вас ведь тоже есть дети?

Между тем я бесплатно работал в секретариате редакции и, поскольку рукописей поступало слишком мало, предложил редакции мои дорожные письма (позже они составили сборник под двумя названиями «По дороге к концу» и «Ближе к Тебе»), каковые она, что удивительно, приняла.

По адресу секретариата (моя квартира на Аудерзейдс Ахтербургвал) я получал весьма креативные письма от своеобразных личностей, но очень редко – что-либо заслуживавшее того,

чтобы быть размноженным посредством печатного станка. Вспоминается одно письмо, в котором корреспондент интересовался, выпускаем ли мы также книги с картинками пыток, на которых было бы всё очень четко нарисовано, «чтобы я мог подробно рассмотреть». Для издателя это была подсказочка мама дорогая: автор письма уже тогда указал на пробел, который только сейчас с лихвой восполнен телеящиком и видео. Очень может быть, что письмо и по сей день хранится в архивах.

Повествовательной прозы я почти никогда не получал, но поэзии были горы. Самое замечательное всегда приходило анонимно, всякий раз целый сверток, свободная лирика, месяцами подряд, аккуратно отпечатанная ин-фолио. Было непонятно, что автор желал сообщить. Под анонимом я подразумеваю, что мне никогда не попадалось ни имени, ни адреса, и на громадном конверте тоже. Правда, был почтовый штемпель, но на нем был указан был только *Роттердам Запад*. Кто же присылал мне всё это? Упорный был этот некто, но нервы у меня от него начинали сдавать. Отсылать же назад возможности не было, ведь нужно было иметь имя и адрес, если я этого еще не объяснил.

Думаю, что в конце концов набралось сотен семь страниц, все, как одна, в формате ин-фолио, и каждая страница аккуратным образом отпечатана. Я подумал – что делать? Время от времени я штудировал текст, и становилось мне всё страшнее. Может, это был код, в котором нужно было всякий раз подчеркивать такое-то по счету слово, дабы обнаружить истинный текст, по системе, которая периодически изменялась, так что ключ

непосвященному найти было невозможно? Тогда этот текст предназначался для кого-то другого, не для меня, и кто был этот некто? Никто еще не заходил и не интересовался этим текстом, но чего еще не было, могло случиться. Должно быть, закодированное послание, тут я под конец перестал сомневаться. Но если я получал зашифрованные послания, это означало, что и на меня падала тень, ибо столько я знал о жизни. Что же предпринять? Просто отделаться от этих чертовых писем, и поскорее! Сжечь? Это можно, но кто его знает, каким жидким газом или ускорителем заряженных частиц были пропитаны страницы? Просто выкинуть в мусорный бак? Нет, это только отодвинет опасность. Швырнуть в воду, да, вот наилучшее решение, вдруг понял я.

Дождавшись темноты, я пошел к каналу, на край причала, улучил момент, когда никого поблизости не было, и бросил всю партию в воду. Стопка крутанулась на одной стороне и тут же пошла ко дну. Я был в безопасности, по крайней мере, временно. Если позвонят и спросят, как-нибудь выкручусь.

С наступлением вечера из Роттердама-Запад не пришло ни единого почтового отправления. Я немедленно почувствовал себя гораздо лучше: ясно как день, что меня прослушивали из этой стопки бумаги, а теперь не выйдет, ибо вода, «холодная, чистая вода»[36], как поется в песне, освободила меня от моих преследователей.

Так что всё было хорошо, хотя я по-прежнему не был уверен, было ли это собрание редакции «Тирады» – на предмет моего перехода в католи-

36 Песня Боба Нолана “Cool clear water”.

чество – чем-то нормальным. Лишь позже я понял, что, по всей вероятности, ничего нормального вообще не существовало. Думаю, что это личное.

Но у меня имеется еще один анекдот о вере, который также произошел на самом деле и даже гораздо раньше. В тот раз поднялась буча вокруг другого художника, и это не потому, что он *сделался* католиком, а потому, что внезапно обнаружилось, что он им *был*. Речь идет о живописце, входившем в состав группы Экспериментаторов. Да, странное название, ибо искусство для экспериментов совершенно не подходит. Искусство также не имеет ничего общего с политикой и даже пользы никакой не имеет. Искусство есть законсервированное, или, иначе, презервированное горе, то есть бедствие, это уж поверьте мне, хотя оно, конечно, имеет дело с Богом.

Но теперь об этом художнике из группы экспериментаторов, который внезапно оказался художником. Звали его Роскенс, и с самого начала в группе на него поглядывали с подозрением, потому что у него была пристойная обывательская служба: он работал учителем в средней школе. В один прекрасный день он вступил в брак с одной женщиной, и брак этот, помимо ратуши, был также упрочен в римско-католической церкви, под прелестное пение свадебной мессы. Только-только успел Роскенс разослать приглашения, как г-н Сандберг, в то время директор Городского Музея, созвал всех членов экспериментальной группы для экстренного заседания, ибо не мог же католик быть членом Группы Экспериментаторов? Чем это всё закончилось, не знаю. Всю группу ныне постигла клиническая смерть, и я слыхал,

что даже подлинные полотна Карела Аппела[37] оказались поддельными. Я в искусстве ничего не понимаю, так что за что купил, за то и продаю. Можно и посмеяться, хотя, сдается мне, что для причастного лица это довольно своеобразный опыт, располагающий к размышлениям.

Но я возвращаюсь к злополучному году 1967.

Я тогда уже довольно долго не навещал моего Ученого Полубрата Карела и счел, что так не годится. Он уже сделал публичное заявление о том, что не понимает, как это я – гомосексуал, и не понимает также, как я мог сделаться католиком, и мне показалось это странным, ибо он был профессором, а профессор много знает и всё понимает, иначе какой же он профессор. Но я решил, что то, что я так давно уже его не видел, может быть истолковано как пренебрежение, если я не поеду навестить его.

Наши отношения никогда не были хорошими. Я всегда пытался любить его, но он меня не любил. Он рвал всё, что я писал, и позволил своим школьным дружкам разнести в клочья те немногие книги, какие у меня были, из пневматического пистолета. Я не жаловался, ибо считал, что так и нужно. Думаю, что он завидовал, но чему? Тому, что я потом стану писателем, а он нет? Что это меняло?

Из-за того, что я всегда был зверем, также и в прошлой жизни, я весьма чувствителен к запахам. И вот теперь от него исходил запах, который я называл *карлозапахом*. Нет, я не имею в виду

---

37 Christiaan Karel Appel (1921–2006) – художник, скульптор, график, один из основателей авангардной группы «КОБРА». В своих работах сочетал фигуративные и абстрактно-экспрессионистские элементы.

трупный запах Ренаты Рубинштейн (Кол Хакохол Товеркол Тамар) или Ада Нёйса, но другой запах. *Карлозапах* был запахом слишком долго и в слишком большой влажности хранимого арахиса (Curaçause mangelen). Это был еще не совсем аромат смерти, и тем не менее он был сильным и угадывался даже за пределами дома. И при этом он ел такую же еду, что и я, и мылся тем же самым мылом.

Сам я обладаю приятным запахом: запах католического фенека[38] или степного волка. Поэтому так много зверей любят спать, тесно прижавшись ко мне. Это милость Божия и большое таинство, ибо Бог – чудесное животное, о чем последнее слово еще не сказано.

Похороны несчастного Жан-Люка всё меньше интересовали меня, но я должен был быть там. Больше мне ничего не оставалось.

---

38 Пустынная лисица.

Глава XII

Внезапно мое решение созрело: я всё-таки отправился на похороны и, как всегда, позаботился о том, чтобы явиться вовремя. Дотуда было 4½ километра; сильного движения быть на дороге не должно, и можно было бы свободно запарковаться прямо у Eglise Réformée (Place du Temple). Так что всё обстояло хорошо, ибо мало что могло уже пойти наперекосяк.

Я малость поскреб свою башку, уложил волосы аккуратно, но так, чтобы они оставались этаким естественным шлемом, и перед большим зеркалом исследовал свой темный воскресный костюм, белоснежную рубашку с приоткрытым воротником и не до конца затянутый черный галстук. Нет, нигде не было ни пятнышка, ни пушинки. Обувь на фото никогда не попадает, так что я натянул свои приличные рабочие ботинки с резиновыми подошвами, ибо кожаные подметки моих выходных туфель были еще зеркально-гладкими, и у меня не было желания грохнуться или лягнуть газ вместо тормоза. Ежедневно смерть брала свою дань на дорогах, частенько также на коротких отрезках пути, и сплошь и рядом – неподалеку от дома автолюбителя, потому что внимание его

уже ослабло. Но, вообще говоря, смерть наносила удар там, где ей было угодно, казалось бы, без системы, молодым и старым. В этом недавнем случае – молодому, если Жан-Люка всё еще можно так именовать: через три месяца ему исполнялось 28 лет – стало быть, почти уже мерзкий старик за тридцать.

При этой мысли я вновь обозрел в зеркале свою фигуру, и она мне понравилась. В облике моем есть нечто вневременное: у меня не было возраста, поскольку я был вечным пилигримом постоянно манящего горизонта. Отнюдь не безобразный чувак, и для любителей подобного рода – по-прежнему нежданная радость.

Я выпил ровно один бокал красного вина, ни каплей больше, и это расслабило мои черты и наложило обильный слой патины на мое мужественное лицо. Пусть приходят, подумал я. Конечно же, я на полную катушку надул заднице щеки и пустил ветры, словно чуткий тромбон или умоляющий hobo d'amore. Теперь я знал, что в похоронах воспочиет благодать, причем на небе будут видны чудесные знаки и очень издалека, возможно, послышатся звуки последней трубы; а может быть, и нет, но если уже загодя голову повесил, то и не выйдет ничего.

Садясь в автомобиль и выезжая, я твердил себе, какой я веселый и как мне здорово, но это было не так. Свет, этот свет опять, это гибельное охряное полуденное зарево, которое я уже описывал прежде, которое сводило на нет всякую надежду и всякое ожидание. Никакой не синдром из психической телепрограммы, но просто мама зачем мы живем. Этот свет лишал всё какого-либо значения. Какой смысл и какую цель могли еще иметь эта страна и этот народ?

Чем чаще я раздумывал об этом, тем больше начинал сознавать, что французы – некая разновидность амстердамцев: то же человеколюбие, если оно не стоило денег; та же грубость и дурной вкус; та же алчность; та же ненависть ко всему благородному и уязвимому; то же стремление к разрушению и притворное негодование относительно так называемой несправедливости, вкупе с жеманством сутенера. Да, это всё были истинные амстердамцы, не хватало только тюльпанов и шарманки. По сути дела, я попусту сбежал за двенадцать сотен километров к югу. Но побег этот был угоден Господу, иначе бы он не состоялся, а Бог, Вы это знаете не хуже моего, он хороший, но не чокнутый. Поскольку никто тут не знал, кто я такой и о чем писал, ко мне и не цеплялись. Если и возникали проблемы, то все они проистекали от голландцев, живших по соседству, и никто, даже сам Господь Бог, не мог в это просто так поверить или самостоятельно выдумать.

Короче, во всём был виноват я сам: я не должен был впускать к себе эту шпану. Человек сам творец своего несчастья – по причине высокомерия и греховных мыслей, из-за коих он отворачивается от Бога и думает, что это дарует ему свободу, тогда как это – заблуждение. Ибо лишь в покорности воле Господней человек обретает свободу, как некогда столь сильно выразился Артур Шопенгауэр: *Notwendigkeit ist das Reich der Natur; Freiheit ist das Reich der Gnade. (Die Welt als Wille und Vorstellung I,* zweite Teilband, § 70)[39].

---

39 Необходимость – царство природы, свобода – царство благодати (Мир как воля и представление I, т. 2, § 70). *(нем.).*

В остальном всё шло отлично. Мне удалось удачно припарковаться, к тому же в тени, и ровно в два часа я в небольшой группе народа стоял перед закрытой дверью церкви. Я хотел открыть ее, но она была заперта. Мне показалось это странным, ибо нормально же ведь, что когда в здании в определенный час назначено некое мероприятие – будь то фильм, лекция, заморские танцульки или что еще – это здание уже за некоторое время до наступления означенного времени будет открыто для публики.

Я еще раз толкнул дверь и попытался сдвинуть ее, встряхнув тяжелую дверную ручку, но это не помогло и было с моей стороны глупо, ибо среди окружавших меня ожидающих, конечно же, были люди, которые уже пробовали сделать то же самое. Я спросил, в чем дело. Неужели я ошибся со временем? Нет, не в этом дело, услышал я. Только что началось, заверил меня один человек: ничего такого не случилось, ждали только гроба, ибо гроб еще не прибыл, а уже должен был.

О, как же одиноко мне теперь, когда я всё это пишу! Я иногда говорю людям – моя жизнь пустая жизнь, ибо в ней, по сути дела, не было испытаний, но чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что в ней всё-таки всякого было достаточно, хотя ничего из этого внимания не заслуживает. Для начала – самый юный герой Сопротивления, это я, во время оккупации нашим соплеменным народом. Эта оккупация после военного вторжения была вызвана тем, что Нидерланды являлись не частью Германии, но независимым королевством со своей армией, собственным флагом и детскими праздниками. Критический взгляд – это

для меня нормально, но я, тем не менее, всегда знал мой долг. Так что после этой первой войны я вновь встал под знамя Ее Величества, на сей раз в Нашей Индии[40], в чине артиллерийского капитана, поскольку я – Стрелец (sagittarius). Позже на осмотрах людей распределяли уже не по знакам зодиака, а на основе того, что́ они могли рассказать о той или иной картинке. Теперь же, то есть сильно позже, человека просто бьют током: кто устоит, оказывается подходящим для любой государственной службы: недорогого стоит, ибо если напишешь им письмо, ответа просто не будет. Я, возможно, расскажу об этом позже, потому что на данный момент сей предмет представляется слишком деликатным.

Человек во многих отношениях своими обязанностями пренебрегает, но честным докладом о похоронах трагически погибшего Жан-Люка я Вас не обойду, ибо на свой незатейливый манер смерть-то люблю. Звучит вроде как ново, но ничуть это не ново, если я сошлюсь на связь между Эросом и Танатосом, о чем Шопенгауэр весьма сильно высказался. Эрос (телесная эротика) путем полового размножения сохраняет Танатоса (Смерть), толкающего мертвеца в следующее существование, так что тот рано или поздно возвращается к Эросу. Царству Танатоса, называемому царством теней, или Оркусом[41], греки дали имя «дающее и берущее» и, стало быть, это резервуар всякой жизни. Всё живое когда-то прежде проживало в Оркусе.

---

40 Индонезии.

41 Римский бог смерти, правитель загробного мира.

Поскольку смерть сейчас представляется чем-то очень скверным, похоронные ритуалы будут становиться всё более скудными, пока не достигнут идеала: вывоза тела муниципальной санитарной службой. До этого пока не дошло, но планы имеются.

При кремации моей матери Ученый Полубрат по собственной инициативе распорядился, чтобы никаких надгробных речей, а прах ее надлежит развеять. Мать очень любили, и среди многочисленных присутствующих уж наверняка тот или иной хотел бы сказать пару слов. Пепел в наши дни больше на руки не выдают, ибо он может загрязнить окружающую среду.

Надеюсь, что Вы в отношении всех этих вещей мало-мальски со мной заодно. Не слишком, конечно, ибо у Вас имеются все эти Ваши собственные мелкие, но и крупные проблемы, и я весьма сочувствую, но помочь ничем не могу, хотя мыслями остаюсь с Вами, так близко, насколько это возможно.

Моя мать мертва, и отец мой мертв. Я, может быть, поведаю Вам об их смерти, если буду в настроении. Это мое ремесло: по сути дела, в очень многих моих книгах главной темой является смерть, и так и должно быть. Вечнопребывающая тема, которой не лишено никакое искусство; всякое искусство – это Смерть, о коей так просто сказать слишком мало, но никогда – слишком много.

Веселая нотка в виде анекдота тут, наверно, не помешает. Для кремации моего отца надлежало подобрать подходящую музыку. Полагаю, что у него имелось определенное патетическое дежурное чувство музыки, но оно всегда жестко

подавлялось и оттеснялось, ровно как и осознание того, что рано или поздно он, как и любой, должен будет умереть.

Как Вы знаете, по большей части для похорон как музыкальное сопровождение выбирают *Largo* (вульгарно: «Смеяться») Генделя, но также и *Ave Verum* Моцарта. В этом случае был Моцарт. Есть произведения, которые я ценю выше, но эта пьеса соответствовала тому требованию, что музыка должна не звучать, но «возвышать, журча».

После ужина позвонил какой-то незнакомец с амстердамским акцентом, который поведал нам, что был на похоронах и теперь желал знать, как так вышло или почему так получилось, «что там исполнялась религиозная музыка» – ведь усопший же всегда был «в социалистическом движении»? Нет, я ничего не выдумываю. Хотел бы я так, хотя, возможно, это и не нужно. Однако завидую рецензенту, умеющему обсуждать книгу, которую он не читал, или писателю, который после столетних поисков вдруг открывает небеса[42]. И я порой говорю коллегам поосторожнее с правдой потому что никто ей не поверит. Как, например, нравится Вам рассказ моего приходского священника: является он на кремацию своего друга, и один из членов семейства приветствует его словами: «Вот вас-то я, по правде сказать, никак не ожидал». – «А что так?» – спрашивает священник. – «Да он же социалист был?» – упрекает его родственник. – «Он был мой друг», – говорит священник. Потом он рассказывает мне об этом случае с некоторой неуверенностью и спрашивает, понимаю ли я, как такое

---

42 Реве намекает на роман нелюбимого им Харри Мулиша «Открытие небес» (1992).

возможно, но я его успокаиваю. «Что невозможно, того и не случается, – заверяю я его. – А эти люди, они одержимые, просто подонки». – «Ну, ну», – говорит священник: мои слова кажутся ему несколько резкими.

И эта история тоже не выдумана, так что я записываю ее и делаю из нее произведение искусства, посредством коего хочу одарить прекрасным мой народ и мою государыню. Посещала ли государыня когда-нибудь римско-католическую мессу? Я спрашиваю это просто потому, что не могу держать рот на замке, ибо в чужие дела не суюсь.

До сих пор всё шло хорошо, и теперь я в числе некоторого количества неравнодушных мирно стою перед запертой входной дверью церкви, из которой должен состояться вынос тела несчастного, безжалостно отнятого у нас Жан-Люка. Я торжественно одет и аккуратно держу тройной букет гвоздик, обернутый в изящную станиоль и перевязанный аккуратной ленточкой, на которой висит лиловая карточка с моим написанным от руки посланием в духе как знать, увидимся еще, не от меня зависит. Я к Смерти отношусь серьезно и гнушаюсь любой замогильной порнографии, которая нынче в моде. Того, кто оскверняет могилы или разрушает раку Марии, Матери Божией, нельзя оставлять в живых, вот так я об этом думаю. Но у Вас нет желания всё это время ждать, когда, может быть, откроется дверь этой церкви. Поэтому я хочу занять Вас, рассказав кое-что о совсем других похоронах. Вы, возможно, скажете какое мне дело до них похороны есть похороны и одних сдается мне вполне достаточно. Да, так Вы скажете, но это были совершенно необычные

похороны одной совершенно необычной личности. Об этом, кстати, написано в книге. Речь идет об одном пенсионере, директоре некоего голландского издательства, для которого культура, прогресс и мир между народами были на первом месте. Удивительное в этом человеке было то, что он в жизни ни одной книги не прочел, но тут это к делу не относится, потому что человек прекрасно может обходиться без искусства: нужно только малость привыкнуть, но довольно скоро начинаешь чувствовать себя значительно лучше.

Сей пенсионер-директор купил в Ирландии виллу, возможно, потому, что ему там очень уж нравилось, а возможно и по причине страшной дешевизны, из-за бедности: всегда можно было у «мужичка» приобрести или сделать на заказ какую-нибудь красоту. У мужичка голландец умеет за гроши купить великолепную чугунную кухонную плиту, и мужичок привозит и устанавливает эту отличную плиту, но не хочет «абсолютно ничего сверх того». «Фантастический» старинный чайник плюс такое же ведерко для угля можно найти у совсем другого мужичка, который просит за это еще меньше, можно сказать: «даром отдает». Думается мне, что вполне возможно найти такого мужичка, который Вам запросто подарит прекрасную старинную утятницу, изукрашенную изображениями виноградной лозы («поистине безупречная») – не за так, нет: Вы от этого мужичка еще и деньги получите! Случается ли такое в действительности, не знаю, но это у них «в крови».

Но вот чего этот директор-пенсионер, вероятно, не знал, что Ирландия на 99% была католической и по традиции глубоко набожной.

В Голландии наш директор серьезно занемог и был отправлен на свою ирландскую виллу. Состояние его быстро ухудшилось. Ничто не указывает на то, что он принял какие-либо надлежащие меры или дал указания о доставке тела. Его считали человеком непроницаемым и замкнутым, в маске, за которой скрывались одному Богу ведомо какие благородства, но я думаю, что ничего за этой маской не скрывалось, кроме аморфной бесхарактерности современного массового человека. Вам, вероятно, знаком такой сорт: неслыханно просвещенный и прогрессивный тип, который считает, что борьба за улучшение жребия бедняков и бесправных должна продолжаться «неустрашимо» и даже «плечом к плечу», при условии, что жертвовать собой в этой борьбе должен кто угодно, кроме него, а он себя ни на рюмочку не обделит. Но кто мы такие, чтобы судить.

Когда Издатель покоился в гробу в спальне своей виллы, сын его при подготовке к преданию тела земле столкнулся с проблемой. Да-да, именно так значится в культурной книге, посвященной этому издателю: *проблема*. Ибо что же выяснилось? Что не только поблизости, но и во всей округе были только римско-католические кладбища, собственность Р.-К. Церкви, которая ими и распоряжается; из названия видно. А всё потому, что кругом были одни католики. Даже эти «мужички», у которых за гроши можно было купить фантастические старые вещи, Вы помните, все они до единого были католики!

Мертвец не может бесконечно лежать непогребенным – к тому же был разгар лета – то есть нужно было, хочешь не хочешь, отправляться к властям, в ведении которых находилось местное кладбище – и был это патер.

Вообще говоря, мне кажется совершенно нормальным, что кладбище принадлежит кому-то, будь то муниципалитет, провинция, ассоциация или религиозное сообщество. Этот наполовину осиротевший сын полагал, вероятно, что «всё было для всех». В артистических и прогрессивных кругах выражение «всё для каждого» всегда читается как «всё для меня». Гениальный сын того исключительного издателя явно думал, что в католической стране ни для чего не нужно испрашивать разрешения, и уж определенно не нужно, если ты сам не католик, ибо тогда можно всё. Нет, так в той великолепной книге не написано, но здесь и сейчас – да, в этой самой главе моего нового всемирного романа, который я пишу совершенно самостоятельно.

Гениальный Сын направился к патеру. С этим проблем не было, но на католическом кладбище действовали определенные правила, как и на любом другом кладбище. Нужно некоторым образом считаться с другими. Патеру только хотелось знать, что представлял собою усопший. Был ли он какой-либо веры? Да, конечно: воспитан в лютеранской вере. Автор книги пишет, что при этом заявлении патер взглянул с подозрением, но мне в это не верится, ибо Лютеранская церковь, так же, как, например, Англиканская, стоит куда ближе к Римской церкви, нежели другие реформированные религиозные группы. Когда сынок рассказал вдобавок, что усопший во время немецкой оккупации был участником подпольного сопротивления, патер заключил: «Стало быть, он был христианин». Так что ему было позволено упокоиться в освященной земле.

Патер перед тем, как предать тело земле, хотел отслужить мессу за упокой души усопшего, но сынок не позволил, потому что его отец «этого определенно не пожелал бы». Патер с этим согласился. И всё же он хотел бы всё-таки сказать пару слов на могиле, но и от этого сын «отмахнулся» (именно так в книге!) «с помощью нескольких тщательно подобранных выражений».

Перед погребением патер несколько раз заходил в дом Издателя. После него являлись еще группки соседей, «мужчины, женщины и дети» – выразить соболезнования. И знаете, что они делали? «Стоя у погребальных носилок, они осеняли себя крестом и на несколько мгновений застывали в молчании, молитвенно сложив ладони, а потом вновь выходили». Это написано в книге, так что я ничего не выдумываю.

А теперь, судя по фотографии в той книге, на могиле стоит крест, на котором каменотес с ошибками вырезал фамилию покойного. Патер ли в этом виноват? Кто знает. Нет, но я знаю точно: зачем было писать это имя аккуратно и четко, заглавными буквами на листке бумаги, да еще для *католического* священника и *католического* каменотеса? Это же не обязательно? Мы же ведь художники, и нам позволено всё?

Упомянуто ли это в книге? Не в стольких словах, нет, но упомянуто, если Вы понимаете, что я хочу сказать,

Один считает так, другой – этак. Я никак не считаю, но с тем же успехом могу спросить себя: кто-нибудь когда-нибудь заплатил за эту могилу и этот крест? Или же этот гениальный сын получил от «мужичка», патера то есть, еще и денег в придачу? У Бога и в Нидерландах всё возможно.

Глава XIII

Чем дальше продвигаюсь я в своем рассказе, тем больше осознаю, что мне нужно описывать не только печальные события, но также и прекрасные вещи, даже романтические, например, то, что растрогает сердце и душу читателя и даже волшебным образом сможет вызвать улыбку на его лице. Но это именно то, чего мне всегда хотелось! О, воззвать к тишине, в которой мы чрез вечную песнь далеких певчих птичек различаем, как нам думается, глас Божий! Такое редко случается, и тот, кто это пережил, предпочитает хранить молчание. Однако я хочу и должен писать об этом, ибо мне был ниспослан дар слова.

Вы уже понимаете: летний вечер, то есть действительно. Это, должно быть, был год от человековоплощения 1967, не успешный год, но я тогда всё-таки уже приступил к новой книге.

Я жил в то время в Г. (Фрисландия), где купил батрацкий дом, которому сперва дал неверное имя, но потом написал его название на собственноручно изготовленном фасадном камне: *Дом Трава*, относка к Исайе 40:8[43]. Сохранилось ли

---

43 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.

еще это название, не знаю. Дом некоторое время оправдывал ожидания, но недолго. Что до меня, не обязательно, чтобы на этом фасаде висела мемориальная доска, даже если там было бы написано: ЗДЕСЬ ГЕРАРД РЕВЕ / ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ / БЫЛ ПОЧТИ СЧАСТЛИВ.

Неподалеку, за углом, у проселочной дороги, у поэта Нико В.[44] был такой же, как у меня, домишко. Нико В. уже давно нет в живых, но я почтительно упомянул его в моем цикле из двух романов: «По дороге к концу / Ближе к тебе», и я по-прежнему так думаю о нем.

У этого Нико В. был роман с одной молодой женщиной, которая мне нравилась и которую я здесь буду называть Сарой. Настоящее ее имя я упоминать не буду, поскольку не хочу, чтобы ей стали надоедать. У нее было трое детей, все трое мальчики, и к ней и мальчикам у меня был особый интерес. Отца мальчиков больше с ними не было, – сбежал или умер, как бы там ни было, он отсутствовал.

В сущности, в этом 1967 г. ничего не случилось, кроме того, что у меня вертелись всякие мысли, которые только долгое время спустя смогли в виде книг найти путь во многие гостиные и многие сердца. В то время я об этом не знал: будущее было еще темно, хотя я уже сознавал, что это будет не только забава да веселье. От жизни я недвусмысленным образом испытаю большие страдания, и жизненный путь мой будет весьма трагическим.

Климат в той части Фрисландии суровый. Из-за отсутствия лесов и холмов, многочисленных озер и близости моря здесь почти никог-

---

44 Nicolaas Adrianus (Nico) Verhoeven (1925–1974) – поэт, приятель Реве.

да не бывает безветренно. И, выйдя на улицу, нигде нельзя спастись от ветра. Укрыться можно было только в доме, но чем бы я ни был занят, звук почти никогда не стихающего ветра непрестанно внушал мне мысль о том, что я смертен. Нет, то небольшое кладбище перед моею дверью мне нисколько не мешало: это была всего лишь буквальность, которую глупцы вечно принимали за суть. Знаменитый на весь Центральный Амстердам поэт С. с ухмылкой заявил однажды в интервью, что я купил домишко, который «выходил окнами на кладбище». А его дом, стало быть, нет, – так он думал, хотя был уже не мальчик. Он был из категории *другие*, которые думают, что все умрут, а вот они – нет. Его можно сравнить с моим Ученым Полубратом, который после одного нелегального репортажа написал под именем Брукман в некой газете, что мой дом во Франции имеет всего одно окно, и упомянутое окно выходит на глухую стену. И это в то время, как в доме было семь окон, и изо всех открывался просторный вид на долину или дальние холмы! Ученый Полубрат явно не знал, что на глухую стену выходит его собственный дом. Ошибся, стало быть, смешал два дома в кучу, видимо, потому, что слишком уж ученый. От родственников и коллег можешь такого ожидать, это же ясно как день. Понимаете, что я имею в виду? Надеюсь. Можете всегда у меня спросить, если что-то уж очень трудно понять. Но чем скорее Вы помрете, тем лучше, как думаете? А я обеспечу кладбище и глухую стенку. Только приходите сначала посмотреть. Если еще можете смотреть, пойдемте вместе посмотрим. Людей это не раздражает.

Но однажды ранним летним вечером стояла необыкновенно дивная погода. Ясно, приятное тепло и ни намека на ветер. Солнце еще висело над горизонтом и отбрасывало длинные романтические тени, которые настраивали людей и животных на чуткий и чувствительный лад. И надо же: совершенно неожиданно с прогулки ко мне зашла Сара – подруга поэта Нико В. Я был один дома, но Сара пришла не одна: при ней имелся полный комплект из троих сыновей.

Прежде чем я отправился в свой домишко за столиком и стульчиками, чтобы установить их для гостей на бетонной площадочке в моем садике, мы остановились друг против друга, и меня начали обуревать чувства. Сара была настроена ко мне благожелательно, думал я, или, вообще говоря, я это знал наверняка. Она считала меня милым и нисколько меня не боялась, так же как и три мальчика, ее сынишки, ибо если самка-мать не боится чего-то или кого-то, то и детеныш ее тем более.

Все четверо выстроились передо мной в виде пастушьей флейты – самый маленький мальчик, потом мальчик чуть повыше, самый высокий и, наконец, наибольшая фигура – сама Сара.

На мальчиках были походные брюки цвета хаки и футболки с невинными изображениями. Сара тоже была одета в короткие, но пристойные брючки тонкого льна цвета охры и бежевую блузку без рукавов из полуматового шелка. Она была красива и красиво одета, так что никакой речи не могло быть о неуместном свободомыслии. Я с большим интересом глядел на нее, возможно, чересчур бесцеремонно.

Я вынес столик и достаточно стульев, поставил их и перечислил свои продуктовые припасы.

Гости тем временем прошли в передний садик, но всё еще оставались стоять, ибо гость всегда ждет, когда хозяин предложит ему стул.

Я по-прежнему слишком часто поглядывал на Сару. У нее были изящные твердые грудки, и я услышал очень слабый аромат духов, из-за чего мне опять подумалось об ужасном жребии человека и зверя, даже обо всем мироздании, да, обо всем, что дышало. И я вдруг заключил ее в объятия, притянул к себе и стал целовать в щеки, глаза, ушки и несколько раз в шею. Нет, не в губы, ибо это счел неприличным перед мальчиками, Бог знает, почему. Я приклонил голову к ней на плечо. Боже, смилуйся над нами всеми, хрипло пробормотал я.

Сару это ни потрясло и не рассердило. Что вообще происходило? Что происходило с ней, что происходило со мной? Происходило то и происходило сё, но как бы то было или не было: мы влипли. Был ли я влюблен в Сару или желал ее только ради спортивного интереса? Хотел ли я доказать, что был просто здоровым парнем из народа, который косил под гомика, чтобы таким образом повысить продажу своих книг? Об этом и речи быть не могло: я был обычный римско-католический гомо, конечно, богобоязненный, но без страха и ненависти к женщинам.

Поэт Нико В. не был трудным человеком, но если бы я сделал «это самое» с Сарой, я бы ему этим удовольствия не доставил. Тигра[45], тот да, этого всё устраивало, и всегда у него оставалось что-то для другого. Это было с его стороны благородно, но так далеко по жизни не уйдешь. У самого

---

45 Willem Bruno van Albada (1941) – модельер; в 60-е годы 20-го века – партнер Реве.

меня имелись весьма высокие понятия о любви – я знал, что это нечто другое, нежели удовольствие или игра. Любовь была, возможно, единственным Божеским атрибутом, ибо в отношении трех других – всеведения, всемогущества и правосудия – у меня имелись сомнения. Мы должны подождать и посмотреть, хотя с этим «посмотреть» далеко не уедешь. Наиболее вероятным было то, что тут мы имели дело со старой песней, анданте состенуто[46], *Чрез Нее К Нему*. К нему, да, ибо один из троих сариных отпрысков был моим любимцем. Нет, не самый старший и самый высокий, и не младший и самый маленький, а средний. Ему было лет одиннадцать-двенадцать, но, возможно, и меньше. Он глядел на всё, как я в его возрасте глядел на всё: это было осторожное выслеживание и тревожная мечтательность. Всё подмечать, но ничего не уметь истолковать. Его старший и младший братишки, возможно, были привлекательнее, чем он, более атлетически сложенные, более безличные и определенно подходившие для «серии для юношества» по телеящику, с грубыми вопросами «презентатора»: делали они уже это сами с собой или с другими, могут ли они назвать два непристойных слова из трех букв для определенных частей тела, ибо тогда они смогут принимать участие во втором раунде.

Но вот что я теперь думаю, спустя годы вспоминая всё это: при всем моем возбуждении я бы предпочел, чтобы никто из них никогда ко мне не приходил.

---

46 Сдержанное анданте.

Странно то, что после этого я несколько раз встречал Сару во фризской деревне Г., – но не ее детей. Она, как и Нико В., снимала «рабочий дом»[47] в Амстердаме. Мальчикам нужно было каждый день в школу, так что она не могла забирать их к себе, кроме как на выходные или во время каникул. Возможно, они уже были маломальски самостоятельными и могли сами справиться в амстердамском жилище. Возможно, один из них умел готовить, – любая обезьяна может этому выучиться, не так уж это сложно. Который же из них готовил? Мне хотелось это знать, но я не спрашивал и удобства ради представлял себе, что это был он, Вы понимаете, кого я имею в виду, ибо тогда я мог видеть его перед своим мысленным взором: его стройная фигура, склонившаяся над кухонным столом или раковиной; задняя сторона его обнаженных коленок и ног, а также то, что было повыше, то, что шевелилось, напрягалось. Что касается верхней части его тела, меня прежде всего интересовали волосы на шейке и дневной свет с улицы, просвечивавший ушки. Сколько же было лет ему? Имелись ли уже у него определенные чувства, потаенные ли, нет ли, и какие мысли были у него при этом? Ощущал ли он уже себя таким же одиноким и покинутым, как я? (Ба, думал я порой, когда меня начинало тошнить от собственных сантиментов, вовсе не книжных, но бывших столь идиотскими, что я сам должен был

---

47 Дом для рабочего класса, также известный как народный дом, является типом жилья, предназначенным для аренды рабочих и ремесленников со своими семьями. Такие (главным образом) небольшие дома строились специально для этой целевой группы со второй половины XIX века.

их придумывать, такими глупыми и скабрезными были они). Били когда-нибудь другие мальчики его, добровольного помощничка-мойщика-маминой-посуды, и как в таком случае, и где? Хотя какое значение мог иметь этот вопрос?

Как Вы уже должны были понять: это всегда касалось среднего из троих, хотя оба других, старший и младший, в моей комнатке несли функцию «двое на всякий пожарный», никогда ведь не знаешь.

О среднем мальчике я лелеял самые глубокие помыслы. Кем станет он, если будет жив и повзрослеет? Гомосексуалом? Да, это возможно, всё возможно, в конце концов, но с таким милым мальчиком может ведь всё обойтись нормально? Гетеро, тоже ведь возможно? Не то чтобы жизнь тогда будет сплошной праздник, ибо всё рано или поздно оборачивается горем: лучше уж вообще не жить.

Подастся в искусство? *Ars longa, vita brevis*[48]. (Чем больше искусства в жизни, тем она короче).

Пытаясь как можно реже останавливать взгляд на моем маленьком любовном центральном нападающем проигрывающих юниоров, дабы не пробуждать ревности Сары, я думал о подходящей для него карьере. Балет, то есть танцорчиком? Нет, ради всего святого, это в самом деле уж слишком. Театральным актером? Ну да, тогда вперед, хотя это будет скверная труппа, с рыданиями и истериками в уборной. Сперва хорошие, затем доброжелательные рецензии и, наконец, вовсе никаких. А потом, из-за пьянки или наркотиков, падение в оркестровую яму, после чего он никог-

48 Vita brevis, ars longa – жизнь коротка, искусство вечно *(лат.)*.

да больше не сможет нормально ходить. То есть хворости, и с шайкой культурных просветителей колесить по стране в проржавевшем автобусике, выступая перед сеноворошилками на резиновых колесах за мизерную субсидию от почечного фонда и правительства. Какой это был красивый и милый мальчик, а вот докатился. Как всё-таки это ужасно, хотя можно продолжать рассматривать это как призвание.

Нет, тут Вы правы: от этих моих помыслов никому ни холодно, ни жарко. И с моей стороны было некрасиво вот так запросто желать этому мальчику, который не сделал мне ничего дурного, подобной судьбы, и это в то время, как я его считал, что называется, таким милым. Да, я дурной, но я ничего не делаю. Даже зверю я никогда не говорю гадостей, жизнью клянусь.

Вы, Просвещеннейший Друг, да, ты: Вы считаете, что это просто великолепно, когда мальчик, не сделавший ничего дурного, но очень чувствительный и милый, с мягким характером и сама невинность, ибо ему еще расти и расти, что он как можно больше страдает и горюет, ибо Вы хотите причинить ему боль своей насквозь порочной, противоестественной похотью, которая ужаснее, нежели самый жестокий дьявол. Я очень хорошо знаю, что сделали бы Вы в моей трагической, увы, ситуации, и рано или поздно я опишу это в газете или попросту в книге, совершенно точно, стало быть, то, что Вы собирались сделать: прихлестнуть за этой милой и весьма целомудренно одетой матерью, Сарой то есть, и за ее спиной злоупотребить доверием всех трех мальчиков, но столь утонченным способом, что они не осмелятся рассказать об этом, а сделаются пугливыми и

станут странно себя вести, так что домашний врач начнет что-то подозревать, потому как поведение это необычное. И тогда тут же сделать ноги. И всё это время ничего, совершенно ничего не делать по дому. В том числе никаких подарков или приятных сюрпризов, я имею в виду, обычного внимания. Да, конечно, я решительно собираюсь разоблачить Ваше имя, если понадобится, зашифрованным, ибо рано или поздно Вас найдут, или не будет больше Господа и вечной справедливости.

Но всё-таки имелась одна экономическая проблема. Предположим, что я осуществлю с Сарой мое желание продолжения рода, а со средним ее сынишкой в определенной степени понежничаю – мне ведь тогда придется заботиться обо всем семействе, а я этого не смогу. Ибо настоящего источника дохода у меня не было: я еле концы с концами сводил. Гордиться тут нечем, хотя я ни цента никому не задолжал, благодаря своему благонравию. Если вещи были дороги, я их не покупал и уже тогда питался практически исключительно мелкой картошкой, сырой морковью, черствым хлебом и битыми яйцами, – вещами, которые были не только недорогими, но всегда очень и очень дешевыми.

Не довожу ли я сам себя до безумия всеми этими странными мыслями? Был ли этот мальчишка, средний сын Сары, в самом деле таким уж сказочным принцем? Полноте, это вопрос предпочтения. Порой кто-то говорит, что до смерти влюблен в кого-то, а я этого человека случайно знаю и говорю не понимаю что ты в нем находишь.

Но всё это нехорошо закончится, очень-очень нехорошо, и я Вам потом расскажу, чем. Тогда же я был очарован этим маленьким принцем лет

одиннадцати-двенадцати, и тут уж он был бессилен, ибо не был ни кокеткой, ни провокатором, а мечтательно жил в волшебном мире одиноко шелестящих лесов с бедными угольщиками, которые были вынуждены торговать собственными детьми, потому что не могли больше сами прокормить их, то есть он не преследовал выгоду или личный интерес. О, до чего же милый зверь он был! И весьма преданный и верный.

Но теперь Вы захотите узнать, как он выглядел. Он был стройнее двоих своих братьев, гибкий, как змея, приносящая душистые травы, но, однако, с настоящими и хорошо развитыми юношескими холмиками. В то время как его братишки носили яркие футболки, он ходил в темно-фиолетовой, с изображением куницы или енота на сером фоне. Все трое носили баскетбольные кроссовки из магазина народных спорттоваров, но его кроссовки были черные, без рисунка, или очень темного зеленого цвета, тогда как у других – с яркими полосками. Была ли крепко сложена кое-какая передняя нижняя часть его тела? В этом я удостовериться не мог, но мне хотелось думать, что когда-нибудь она разовьется в нечто устрашающего размера и ужасающей красоты.

Был ли он приятной наружности? Вообще говоря, не знаю. Могу только сказать, что вид его лица глубоко трогал меня. Похоже, что ни одно лицо на свете не может быть совершенно симметричным, но его лицо было определенно асимметричным. Его правая глазница была расположена гораздо ниже, нежели левая. Глаза были посажены глубоко, и глазницы, так же как и нижние скулы, четко обрисовывались. Довольно сильно выдававшийся рот был широким, с сильными, хорошо снабжав-

шимися кровью губами. Мне хотелось прижать его лицо к моей груди, чтобы он сосал ее, но это было невозможно, у меня были только сосочки, ведь я был мужчина. Но что бы там ни было в целом: это опять мое тайное восхищение определенным типом головы. Разумеется, у него были восхитительные гладкие непокорные волосы, но я, как всегда, радел о костяке, красоте, которая остается вечно и никогда не увядает: в очередной раз это был мальчик с череповидной головой, которая была предметом моей страстной заинтересованности. В жизни бывают трудные вещи, о которых человек говорит что мне с того. Смерть народу, это в любом случае.

После того, как я навсегда уехал из фризской деревни Г., я еще один раз встречал Сару, но ее сынишек – больше никогда.

Я вернулся в Амстердам, но через несколько лет и это место оставил на веки вечные, – конечно, слишком поздно, но лучше поздно, чем никогда. Это мрачная праздничная палатка, на которой, кажется, лежит проклятье, ибо каким бы даром и каким бы талантом ни обладал человек – кто останется там, никогда ничего не достигнет, а отчего так, мне не ведомо.

Но теперь о том, как я вновь увиделся с Сарой. Одним зимним днем, когда стояла исключительно скверная, суровая погода, в рано спустившихся сумерках и хлещущих порывах дождя я наткнулся на Сару на амстердамской улице Дамрак, лучше сказать: она наткнулась на меня, ибо я ее не заметил.

– Узнаешь меня, Герард?

Я старался изо всех сил, но нет, вспомнить не получалось, хотя я притворился, что вспомнил, в духе «имя из головы выскочило». Это она, Сара,

ну, тогда, в деревне Г. Разумеется, я помню, ах да. Сколько же лет назад это было? Я никогда не мог точно сосчитать, но думаю, что между тем лет пятнадцать-шестнадцать прошло. Сара не похудела, а, напротив, располнела, и одета она была не по-летнему, как тогда, а упаковалась против ярости природы в слой свитеров, накидок и тренировочных штанов.

Она показалась мне ниже ростом, чем тогда. Сначала человек растет, потом делается меньше, и в конце концов разрастается только в ширину, хочет он того или нет. Я нашел, что она по-прежнему мила, хотя того желания, как тогда, у меня уже не было. Старую тетку за тридцать и такого же мужика где угодно можно найти, это жестоко, но так уж мир устроен.

Мы потащились дальше, разговаривая и время от времени укрываясь от непогоды в портиках магазинов. Я искал лавку курительных принадлежностей – хотел купить папирос, но уже тогда в центре города шарманок было не купить фунта сахару или хлеба; зато сколько угодно – булочку с суицидальным крокетом за половину часовой зарплаты, и бесплатно – тумак от шмаровоза, если ненароком оттопчешь ему ногу.

Сара знала одного газетного короля на Хохстрат, который торговал также и папиросками. Она жила неподалеку, но у меня была назначена встреча, на которую я должен был обязательно прийти, так что ее предложение зайти к ней на чашечку кофе отверг.

Всякий раз, когда мы останавливались, она что-нибудь рассказывала. Да, смерть поэта Нико В. принесла ей тогда много горя. А знал ли я – нет,

как я мог это знать? – что один из ее детей тоже умер, один, значит, из этих мальчиков? Я вздрогнул, ибо это потрясло меня, и глубоко.

Обычно я очень отчетливо помню события, часто даже с фотографической четкостью, но имена забываю быстро, и таким образом я забыл – если вообще когда-либо знал – ее фамилию, имена троих мальчиков и даже имя обожаемого среднего принцика, избранного мною из-за его характерной мальчишеской головы.

Я купил себе папирос. Помещение магазина было таким большим, что мы могли продолжать нашу беседу, никому не мешая. Но мне было холодно даже в укрытии обогреваемого магазина, возможно, из-за плохой новости, которая вовсе не была приятной. Я хотел отстраниться от этого, от прошлого, от тех лет во Фрисландии, да, даже от большей части моей жизни, которая, однако, была всего лишь скверной, бегством от гнусностей, которые я видел или думал, что видел. Не то чтобы я не испытывал сострадания к Саре, Боже упаси, его я испытывал определенно.

Я предоставил ей возможность рассказывать, не говорил много и дал ей говорить, причем понимающе кивал или с выражением муки на лице, от расстройства медленно покачивал головой. Сколько ей было лет? Однако довольно много, но это к делу не относится. Как давно случилась эта картина во фризской деревне Г.? Нет, вообще говоря, об этом речь не шла, ибо я хотел знать только одну вещь: умер один из троих мальчиков, но кто?

То, что я собираюсь тут написать, покажется придуманным. Но это не так, ибо я не из интеллектуалов. Мне ничего выдумывать не нужно.

Конечно, я в своих книгах порой должен отступать от правды, ибо она может быть неправдоподобней, нежели самая шальная фантазия.

Но теперь: никаких отступлений. Который из трех мальчиков умер? Прямо спросить об этом у Сары я не решался. Да, я точно знаю, что Вы думаете, но всё-таки Вам нужно запастись терпением. Сначала я, а уж потом Вы, ибо роли поменялись.

У умершего сына были проблемы: трудности в школе, ну да, всего помаленьку, и он к тому же подсел на наркотики, вся эта канитель с абстиненцией, потом опять подсаживался. И кроме того – Сара говорила об этом свободно, ибо это уже не было табу и даже начало несколько входить в моду – он, умерший мальчик, больше не мог мириться с тем, что он гомосексуал. Пожалуйста. Сара была не глупа, однако наивна, и весьма вероятно, что вместе со многими другими она разделяла народное поверье о том, что «от этого можно избавиться, нужно только захотеть». Пойти в моряки или в десантные войска, просто примкнуть к какой-то группе, которая сделает из тебя человека.

Не знаю, сможете ли Вы всё это запомнить, ибо тут вот еще что: он, мальчик, кроме того, что сверхчувствительный, гомосексуал и снова и снова на наркотиках, был еще и евреем, то есть не тот багаж, чтобы сидеть и ждать, если только не считаешь, что недостаточно уже натерпелся. Она, Сара, была еврейкой, и если он, сын, был ее законнорожденным, то согласно еврейскому закону он был евреем. Смотрите, тут была перспектива: он мог, можно сказать, уехать в Израиль, даже без визы: любой еврей из какой бы то ни было части света мог уехать туда, ибо так гласит конституция иудейского государства. Сказано, сделано.

Так что он отправился в Израиль, дабы построить совершенно новое и счастливое существование в киббуце (аграрном кооперативе), и там, да, там нашел он свою смерть, самостоятельно уйдя из жизни: повесился.

Я хотел устраниться, я хотел уйти, я больше не хотел всего этого. Отчего люди никогда не рассказывают о чем-то другом, только о вещах такого рода? Я приехал аж из Роттердама, с которого уже по счету адреса, в Амстердам, не для забавы, а потому, что у меня была назначена встреча. И в придачу еще эта гнусная погода, всё исполнено печали и воспоминаний, и тут еще и это. Прекратится это, вбогадушу (....), когда-нибудь?

Но я овладел собой. – Господи боже, – сказал я, покачав головой. – Никогда ведь не думаешь, что такое может случиться? – И тогда, как можно более нейтральным тоном, я спросил ее, как бы вскользь: – Это старший был или младший? – Нет, средний, – ответила Сара. Ни взглядом, ни тоном она не показала, что помнит что-то о моем тогдашнем предпочтении.

И теперь я хотел в первый и в последний раз спросить ее кое о чем, но не решался: о фотографии, его фотографии, да, ибо я безумно хотел иметь ее. Возможно, подобная просьба не обидела бы ее, но нет, я не сделал этого, что жаль. Для чего была нужна мне эта фотокарточка? Да была зачем-то нужна, не для своей компании или торговли, но просто для личного пользования, по сути дела, совершенно легально.

Ибо я хотел, стоя перед изящно освещенной статуей Славной и Благословенной Девы Марии, Матери Божией, с этой карточкой в одной руке и с

моим орудием любви в другой, с молитвою к Ней и глядя на карточку, длительно возбуждать себя в любви, просто дома, значит, а не на дороге, ибо это есть таинство, иными словами – загадка.

То или иное имеет свою предысторию. Прежде чем Она явилась мне – после этого мне ничего иного не оставалось, как сделаться католиком – у меня уже были идеи, указывавшие в правильном направлении. Ибо давным-давно, на большом морском курорте в Южной Англии, где я видал много молодых Матросов, я забирался в море до высоты паха, подальше от нечистых людских взоров, дабы излить в море мой любовный сок, произнося сильным и значительным голосом: *Seamen are sailing on thee, semen is offered to thee*[49]. Я совершал то, о чем знал, что это желательно, не понимая, почему. Только потом узнал я, что Она была Звезда Морей, Спасительница Утопающих и Хранительница мореходов, а также стояла на Луне, которая благодаря этому утешает, посылает любовь и плодовитость, но может также свести с ума, так что я внезапно всё понял. Море и Луна тоже были как-то связаны друг с другом. Нет, я не имею в виду ту чушь, что Луна в определенные периоды времени поднимает Море. Вращение Луны и приливы Моря не имеют каузальной связи, но они есть синхроничность Ее воли, то есть воля Матери Божией.

Однако дома я отлично знал, что делать. В определенного сорта книжонке я нашел фото юноши, – как мне показалось, он выказывал большое сходство с тем мальчиком, которого я желал тогда, давно.

---

49 Моряки бороздят тебя, семя предлагается тебе *(англ.)*.

Я произнес излюбленную молитву всех католиков мира, оканчивавшуюся словами: *Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей.* А потом, возбуждая себя, во время чего глядел на упомянутую картинку, в лицо умершему милашке: *Пусть Твой святой ангел заступит в караул при этом мертвеце.* У него была могила, у бедного мальчика, конечно, и всё-таки это была моя вина. *Mea culpa, mea maxima culpa*, пробормотал я. Будут ли почитать его могилу? Я думал, что да: еврейская могила никогда не может быть открыта никем, кроме Мессии.

«Услышь, о Израиль! – сказал я. – Единственный твой Бог вечен. Ибо тысяча лет для Него словно вчерашний день, словно бодрствование в ночи».

Глава XIV

Вновь увлекаю я Вас за собой на крыльях Смерти, причем хочу быть как можно ближе к Вам, ибо, может статься, Вы испугаетесь, и я смогу утешать Вас и вселять в Вас присутствие духа. В наше время многие в этом нуждаются, равно как и Вы, и уладится ли всё в самом деле – никому не ведомо. «Кто я?» – задаются люди вопросом.

Я сперва делаю несколько заметок, чтобы потом разработать их:

1. Я – Пишущая Летучая Мышь Пещер.
2. Всегда уделять внимание страждущему ближнему.
3. Если более нет тишины, где пребывает внутренний голос?
4. Про того мальчика с астмой в армейской палатке, студента.
5. Дома никогда никаких ссор, никогда, но теперь смотрю на это со стороны – напряжение просто мама дорогая.
6. Если я параноик, то у меня на это есть право, ибо мне нужно иметь возможность выразиться.
7. Визит к полубрату: в сущности, ничего не произошло.

8. Опять видел мальчика, попытка сближения, и всё опять трагично, но мальчик не пал в объятия Многомудрого Друга, которого Вы не знаете, к счастью для Вас.
9. Я, всё время быть несчастным и думать о былом. Просвещеннейший Друг скверный человек.
10. Ко мне самому в ранней юности грязно приставал мужчина. Потом никогда не обмолвился и не упоминал в разговорных передачах. И никому не рассказывал.
11. Моя жизнь покрыта завесой. Записывать названия, чтобы запомнить: «Булочки», «Любителям ручной работы», «Эссе Гомо».

В мыслях мы по-прежнему стоим перед запертой дверью церкви, это Вы хорошо помните. Время есть, ибо гроб пока не прибыл. Когда прибудет, всё равно останется достаточно времени – пока все войдут, пока рассядутся, выразят соболезнования родне и аккуратно возложат принесенные с собою букеты. Чтобы разогреть орга́н, были с нежностью исполнены *Variations Pastoriques* Роджерса или Апфельманна. Так что много времени протекает до собственно начала печальной церемонии, ибо никто в точности не знает, когда она начнется. Читателю от этого ни холодно, ни жарко.

Посему я, как и обещал Вам, мысленно отправлюсь вместе с Вами навестить моего ученого полубрата, хотя там, по сути дела, тоже ничего не происходит, и это было потерянное время, но заранее ведь не знаешь. Вокруг нас делается тихо, что также является всеобщей жалобой нынешнего времени: почти ничего не происходит, и я не единственный, кто что-то по этому поводу говорит.

Этот визит к ученому полубрату не удался, говорю Вам сразу, ибо тогда Вы поймете, к чему готовиться. Думаю, что дело было во мне.

Год был определенно винным годом 1967, а день – суббота Троицы. Я тогда всё еще жил в Амстердаме, на Розендварсстрат; братец же – у Амстела, близ Магере-Брюг.

Я не предупреждал его заранее, ибо полагал, что это вполне нормально, поскольку по вечерам в субботу у него всегда были двери нараспашку. К нему ходило много значительных людей, совсем не таких, какие ходили ко мне. Ко мне же значительные люди не наведывались никогда, не знаю, почему, но это было именно так. Ну, правда, один-единственный художник, время от времени, потом гораздо реже, а в конце концов и вовсе перестал ходить, думаю, оттого, что я не выносил всей этой брехни. Они того не стоят и отрывают от работы. Клянчить деньги, блевать на пол и ставить на уши кота, это они умеют. И к тому же они такие уроды, внешне, возможно, из-за красоты, которую они созидают, по принципу: либо одно, либо другое.

Единственной, наверно, значительной личностью, которая раз-другой зашла к нам, был Симон В., изобретатель *имплозии*[50] и подогретой ложечки для героина, ноги которого воняли ужасно, ибо запах просачивался сквозь его заплесневелые итальянские туфли. Я в те времена пил вино, но в доме имелась можжевеловая, ибо я всегда считался с другими. Сей культуртрегер ее крепко уважал, можжевеловую-то. Сказано – сделано, но незадача была в том, что после его визитов я всякий раз недосчитывался то одной, то другой книги, и

50 Взрыв, направленный внутрь, в противоположность эксплозии – взрыву, направленному вовне.

всегда того формата, который легко умещался во внутреннем кармане пиджака или плаща. Я тогда не сильно беспокоился и думал, что одолжил ее кому-нибудь. Но вот как-то раз после визита Симона В. случилось нечто такое, что меня встревожило. Один человек, уезжая в отпуск, оставил у меня аквариум с рыбками и водяными растениями и снабдил меня кормом для рыбок и указаниями насчет растений. После визита Симона В. почти все рыбки сдохли, а некоторые растения завяли. Я был вне себя от этого, ибо старался изо всех сил. Слишком ли много солнца было в доме, или же я упустил из виду температуру? Не смешно, знаете ли, и уж подавно не смешно, когда речь идет о чужой собственности. Только годы спустя поэт и музыкант Джонни ван Д[51]. поведал мне, что оптовый торговец героином Симон В. просто тащил все, что плохо лежало, не в магазинах, ибо рискованно, но у беспечных частных лиц, с почтением взиравших на художников и не питавших подозрений. И я узнал, что поливать можжевеловкой всё живущее и растущее было для него обычным делом. «Вот так он действует, – заверил меня Джонни. – Как только выйдешь из комнаты отлить, он устраивает обыск». Так-то вот.

Стало быть, точно: они воняют, а ты не смеешь прикоснуться к ним, потому что и на тебя перекинется. «Пощупай у меня во рту и надави пальцем на язву, да, вон там, а теперь палец оближи». Рискованно, слышь, а ведь я даже не доктор! Они думают, что всем миром владеют.

---

51 Johnny van Doorn (1944–1991), alias Johnny the Selfkicker – писатель, поэт, декламатор.

Расстояние от «у нас в Иордане[52]» до моего полубрата можно было покрыть пешком, так что я отправился на своих двоих. По дороге я попытался немного собраться с духом. Чего было мне бояться? Я не боялся, но меня страшило нытье, интеллектуальное пустословие, в котором слова не нужны. Я спрашивал себя, водились ли интеллектуалы и раньше. Думаю, что да, но не в таких количествах, как сейчас. Раньше при номинации возникали трудности, теперь же она превратилась в рекомендацию.

И было еще кое-что. Я по-прежнему считал, невзирая на то, что освободился от части моего прошлого, что я в жизни не преуспел, а мой брат – наоборот. Меня даже во снах преследовала мысль о том, что я не закончил гимназию. В повторяющемся сне (сон, который снится из ночи в ночь) я, хотя сделался уже сильно старше, опять ходил в школу, чтобы еще три года корпеть до выпускного экзамена, хотя отнюдь не было никакой уверенности в том, что я этот экзамен сдам. Сны – не обман, и этот сон не лгал. Спустя долгие годы у него вдруг появился хвост: теперь возникал косноязычный человек в кепке, который говорил: «Да тебе же небось не надо больше ни в какую школу?» Приснится же такое. Сон почти никогда больше не повторялся, хотя я довольно долго еще потом испытывал почтительный страх перед людьми с высшим образованием и завидовал студентам.

Я не должен пытаться объяснять всё и принимать всё на веру, но думаю, что первый и последний поход к моему ученому члену семьи и был

---

52 Строчка из песни Louis Noiret и Emile van de Brande, исполненная Джонни Йорданом. «Иордан» – район в центре Амстердама.

моим выпускным экзаменом, и я победоносно его сдал. Но не стану забегать вперед.

Что ожидало меня? Это мог быть дурацкий визит вежливости, во время которого не затрагивалось ничего серьезного. Да, так могло быть, но, возможно, было не так. Случились две вещи, вызвавшие много толков. Вопрос в том, что считать скандальным. В одном семействе и в окружении, в котором никогда ничего не происходит – хотя был, вообще говоря, один, который упал с лестницы или ему прооперировали прямую кишку – теперь речь шла о двух катастрофах космического масштаба. Разве не звонил дядя Алберт как-то вечером аж из большого города Энсхеде, чтобы спросить, правильно ли он понял то, что только что сказали по телику, а именно, что я был «этот самый»? Мать-перемать, так это правда, стало быть? Да еще и католиком заделался? Да, и это правда.

Первое – это судьба, второе считается актом доброй воли, может быть, и по праву, может быть и нет. Ни то, ни другое, вообще говоря, дискуссии не подлежит, но если у интеллектуала нет проблемы, он ее придумает.

Я позвонил в дверь, мне открыли, я поднялся по лестнице, вошел в комнату и уселся в уголку. Вот того, как я звонил и всходил по лестнице, я не помню – возможно, потому, что был весь на нервах – по сути дела, без причины, скажете Вы.

Комната показалась мне какой-то зловеще просторной. Может быть, из-за того, что рассевшиеся вдоль стен присутствующие оказались довольно далеко друг от друга. Сперва я нес обычную ерунду, на которую последовали ничего – к счастью – не значащие ответы. Мне подали кофе.

То и дело повисало длительное молчание – доказательство того, что в воздухе витало нечто. Но мы как-то разрулили, подумал я. И уйти я могу, когда захочу.

Давненько мы виделись в последний раз, правда? Да, правда, не буду спорить. Я смотрел на присутствующих и на тех, кого из них знал. Всех и каждого я поприветствовал и каждому пожал руку, но почти ничего из этого не запомнил. Я продолжал неприметно поглядывать по сторонам. Почему эта комната была такой большой?

Сочинители сенсационной литературы в основном пишут, что комната делалась всё меньше и меньше, и что главные герои видели, как «на них надвигаются стены». У меня же, скорее, было ощущение пустоты, которая делалась всё более угрожающей, в которой фигуры всё более отдалялись друг от друга и голоса звучали медленнее. Теперь я знал, в чем дело: я жил в могиле и думал, что выбрался из нее, а это было не так. На честной могиле ничего было не заметить: я имею в виду скромное пространство с надгробием, имя и адрес, возможно, афоризм или стихотворная строка, без затей. Выберешься ли ты из нее, это вопрос времени: может и да, или когда-нибудь, а может и никогда, ибо такое тоже возможно. Но выберешься ли ты когда-нибудь из могилы, которая расширяется с поступательно возрастающей скоростью?

В сумерках – ибо мне привиделось, что света стало меньше – я в точности напротив заметил того не то студента-перестарка, не то некое временное должностное лицо от науки с этими его глубоко посаженными глазами и ненасытным, в сущности, довольно привлекательным лицом;

я уже прежде встречал его у брата, и уже тогда он произвел на меня впечатление. Сам он этого не знал: не осознавал собственного отчаяния. Забрать его с собой было уже тоже нельзя, ибо разве таких домой водят? И что мог ожидать от жизни интеллектуал?

Он был привлекателен и хорошо сложен, это да, и тоже определенно чего-то хотел, но не знал этого или не хотел знать, ибо был точно мертвый. И уже ближе к тридцати пяти, нежели к двадцати пяти, то есть еле-еле последний шанс. И его не понимали, словно это имеет значение, когда ты не сказал ничего значительного. Меня тоже не понимали, но разве я когда-нибудь жаловался? Я вообще когда-нибудь на что-нибудь жаловался? Да, на повсеместно возрастающее падение нравов, всё, стало быть, в общем смысле, а также на общее благо, но разве я когда-нибудь ныл, что я такой несчастный?

Он был белый, это да, но определенно расово чуждый, думаю, славянин, слово говорит само за себя[53]. При нем имелась девица или женщина, с которой у него что-то было, а может, наоборот, ничего как раз не было, и которая, по-моему, была истеричка. Этого еще не хватало.

Кто-то хотел о чем-то меня спросить. Ну что ж, давайте. Говорившего я знал давно, еще с войны, как героя Сопротивления. У него был голос, от которого с души воротило, скрипучий и очень хорошо всё формулировавший, если ты мог его вынести. Он также выступал по телеящику, рассказывал, какие трусливо и бесхарактерно вели себя многие голландцы во время немецкой оккупации,

---

53 В нидерландском языке это слово означает также и «раб».

то есть ничего нового. Под другим именем он выведен в фильме «Вечера»[54], то есть люди могли бы сказать тогда всё в порядке у тебя, но нет же, ничего хорошего в этом не было. Матрос вместе со мной смотрел по ящику эту важную передачу и сказал: «Кабы он не появился в «Вечерах», давно бы уже газку хлебнул – и на боковую». (Народное выражение, означающее самоубийство).

Как бы там ни было: я заметил, что говоривший к чему-то клонил, и это, конечно, должна была быть одна из тех ужасных вещей, которые теперь сделались публичными. Первой вещи я стыдился, и второй я стыдился тоже. Теперь я сижу, виня себя во всем, преисполненный стыда, осознания своей греховности и позора, и, возможно даже, я слишком застенчив. Всё это не слишком весело, но лежит в основе моей работы, из коей я непрерывно черпаю удовольствие, и тем не менее умею дарить моим читателям нечто вечное.

Нет, говоривший ничего такого страшного не затрагивал. Он всего лишь хотел знать, как я, скажите на милость, смог стать католиком, а я, положа руку на сердце, не знал. (Соседка во Фрисландии, простая женщина, сказала мне: «С каждым может случиться», и я думаю, что она была права.)

Где-то в предыдущей главе я писал, что были художники, которые таковыми не были, но стали; были художники, которые были художниками и остались ими; и были другие, которые ими не были и ими не стали никогда. (Я имею в виду: католиками, а не гомосексуалами).

---

54 В 1989 году Рудольф ван ден Берг снял фильм «Вечера» по роману Реве.

Волевой ли это акт? Думаю, что нет, и это, разумеется, не очень-то здо́рово для тех, кто думает, что мир начал свой отсчет со студенческих протестов 1968 г.

Обычно респондент прекрасно отделывается анекдотом или всякий раз выдает какую-нибудь другую байку, дабы посеять смятение в лагере мозгоёбов. Так, заслуживает внимания вымышленный или правдивый рассказ о художнике-сюрреалисте Максе Жакобе. Он, голодный и продрогший, сидел в своей сырой *mansarde* под *Toits de Paris*[55] и пялился в стенку. Двери и окна были закрыты, и тем не менее в закутке художника-сюрреалиста вдруг появилась Мария (Матерь Божия). Она поглядела на него, медленно покачала головой и сказала: «Макс, Макс, какой же ты урод». И тогда он сделался католиком, и я думаю, что на его месте так поступил бы каждый. Мне она тоже являлась, но куда решительнее, ибо я уже тогда был гомосексуалом. Возможно, она подумала ему от этого вреда не будет. Да святится имя ее в веках! Всё для Марии! *(Ропот, постепенно переходящий в бурную овацию)*.

Не знаю, что я пытался сказать или объяснить людям, которые ничего не умели понять, и это не потому, что были глупы, о нет: всё они знали. Всё? Ну да: разница была небольшая.

Поэтому, вообще говоря, было очень глупо с моей стороны вечно пытаться что-то объяснять людям, которые совершенно этого не ценили. Намерения у меня были добрые, и не трудно рассказать, что такое Церковь, что она провозглашает истиной (догмами), как она организована и каким образом обеспечивает свое дальнейшее

55 В мансарде под крышами Парижа *(фр.)*.

существование. Дальше всё произвольно: было бы желание. Тоталитарные режимы, такие, как в Германии, России и Китае, преследуют Р.-К. Церковь, авторитарные режимы (Италия, Испания) оставили ее в покое. То, что Церковь не за социализм или национал-социализм, не кажется мне таким уж странным: до восстания генерала Франко классово сознательный пролетариат в Испании уже поднял два восстания (в 1932 и 1934). В 1934 в одной только провинции Малага сгорели тридцать две церкви и были уничтожены мастерская и часть работ Гауди. Так что Церковь предпочитает не социализм, хотя шершавый говоритель и трескучий трибун в тот достопамятный вечер в доме моего братца этого настоятельно требовал, что я счел несколько с его стороны нелогичным.

Также и касаемо Германии: Римская Церковь предвидела удар и в 1938 году выступила с папской энцикликой *Mit Brennender Sorge*[56], которая, ввиду угрожающей ситуации, вышла не на латыни, а сразу на немецком, и в которой ожесточенно отметались и порицались расовая теория и учение о *Blut und Boden*[57]. Гитлер немедленно

---

56 «С огромной обеспокоенностью» *(нем.)* – энциклика папы Пия XI, опубликованная 10 марта 1937 года. В ней упоминаются нарушения соглашения с Церковью, и она содержит критику расизма и других аспектов нацистской идеологии.

57 «Кровь и почва» *(нем.)*. Эта идеология рассматривает взаимосвязь национального происхождения («крови») и родной земли, дающей нации пропитание («почвы»), как основополагающую константу, стержень национал-социалистической расовой политики и культурно-политического воспитания.

распорядился конфисковать немецкое издание и ликвидировал все католические издательства, объединения и конгрегации. «Нет, это неправда!» Но это истинная правда, хотя этого никогда не писали ни в одной голландской газете и ни в одном голландском учебнике. Программа Гитлера была такова: сперва всех евреев, а потом всех католиков. У него на это не хватило времени, но Сталин продолжил его дело в России и других странах Восточного блока, а Мао – в Китае.

Социализм преследует евреев и католиков. И тем не менее для многих евреев и католиков социализм обладает притягательной силой. Я бы хотел знать, почему, ибо это всё-таки какой-то вздор. Возможно, многие голосуют за собственного убийцу. Нет, я в тот раз не стал упоминать ничего из вышеприведенного, ибо тогда, возможно, они вызвали бы неотложку. И эти люди были безумно довольны собой, так что никто был не вправе нарушать их счастье.

Я говорил только нечто вроде: «Но ведь католиков же очень много?» Я имел в виду, что это всё-таки не болезнь и не патология? Мой ученый полубрат потом дурно спал и с ним сделалось потрясение, ибо я поведал ему, что речь шла о тысяче миллионов (одном миллиарде) людей и о сообществе, которое росло себе и росло, хотя и было уже наивеличайшим в мире. Для меня это был не аргумент, но для социалистов – весьма, ибо чем больше люди во что-то верят, тем более это становится правдой; так они думают, – если им, ясное дело, это понадобится.

Но ученому обществу это не понадобилось, и впечатление, стало быть, произведено не было. В конце концов я сказал знаете что я думаю: я

думаю, что тут речь идет об отсутствии общего развития. Я подыскивал пример и, приведя его, решил уйти. Ибо просто ведь рехнуться можно. Вы ведь тоже согласны?

И всё же они верили в бога, ибо мне припоминается, что в тот вечер был там некий Нетрам Хисбёвел[58]. Это был весьма забавный писатель, которого время от времени выпускали из клиники, а потом у него куда ни плюнь и повсеместно случались нервные приступы, особенно если он играл какую-нибудь роль в студенческом спектакле. И в то же время он на полном серьезе считал, что мой ученый полубрат был Бог! То есть я имею в виду, что он его почитал как Бога. Я думал, может, он чокнутый пидор, не Бог, я имею в виду, а этот Хисбёвел, который умел так забавно писать. У него еще были жутковатые глаза – не человека, а насекомого. Учился под началом профессора Дриона[59]. Я не имею в виду, что у этого Дриона что-то с ним было, а просто хочу сказать, что Дрион был его профессором. Кстати, странное имя, Дрион: заранее уже знаешь, что тут не всё ладно. Этот самый профессор Дрион сказал как-то в одной газете, что старикам просто нужно давать такую пилюлю. С этим-то я был согласен: тех, кому за шестьдесят и уж точно тех, кому за шестьдесят пять, нужно убирать с дороги. Они больше не работают, а только висят жерновом на шее у общества, и в финансовом отношении тоже. Эта пилюля Дриона, стало быть, отличная идея, но отчего же сам

58 Jacob Martinus Arend (Maarten) Biesheuvel (р. 1939) – писатель.

59 Huibert (Huib) Drion (1917–2004) – адвокат, эссеист; в 1991 году вызвал публичную дискуссию об эвтаназии для пожилых людей.

Дрион эту пилюлю не проглотил – пусть бы все убедились, что она работает? Профессору пристало подавать пример.

Но так я упущу из виду хисбёвелево понятие о Боге. Этот Хисбёвел, стало быть, мнил, что полубрат мой – Господь Бог, и это даже было в газетах. Я прямо-таки малость испугался. Ненормальный в свое свободное время мог всякого напридумывать, но что же мой ученый полубрат, неужто он ему голову заморочил? Если это правда, тогда я, выходит, полубрат Божий, а этого не может быть, ибо брат-то у Бога был, а вот полубрата не было. Как Вам известно, Христос есть истинный Бог, а брат-близнец его – Сатана, с коим флиртовали все художники – романтики-декаденты, как то: Джон Мильтон, Шарль Бодлер, а также один крупный голландский писатель нашего времени.

Но то, что никому не было нужно – это изобретения. Вот такие, как Хисбёвел, да, вот им нужно дать пилюлю! Ну, это можно: у Дриона их была про́пасть, то есть просто звонишь ему по телефону или в дверь.

Теперь я подхожу к развязке. Было ли у кого-нибудь из членов этого клуба-выходного-дня, которые от учености мнили себя пупами земли, хоть малейшее понятие о религии? Может и да, как знать. Ибо двое или трое из них ходили однажды петь в хоре Греческой православной церкви. Это было так жутко! И вовсе никого не напрягало, что они были неверующие!

Когда повисло некоторое молчание, я спросил четко и довольно громко: «Завтра Троица. Кто-нибудь знает, что это такое, Троица?» Я был не уверен в себе, ибо не исключал, что двое-трое

из присутствующих всё же знали что-то относящееся к делу, пусть даже и отдаленно. Но нет: никто не знал.

Я сказал, что мне еще нужно кое-куда, и ушел. На лестнице я принялся чертыхаться, но, к счастью, не громко, ибо это некультурно. И подумал: «Один раз, но никогда, никогда больше. Больше ведь и не нужно?»

Я не хочу, чтобы Вы по этому поводу переживали: Вашей вины тут нет. И Вы не обязаны становиться католиком. Да, конечно, если для Вас это совершенно невыносимо, я не буду больше заморачиваться. Это великолепная религия, и вовсе не дорогая к тому же, и предназначена для всех, на земле, в небесах и на море; для всего мироздания; для всех, кто дышит; и для всех мертвых, ожидающих Воскресения и Спасения всякой Плоти. Аминь. *(Тишина. Молчаливые кивки. Там и сям люди промакивают глаза платочками)*.

Глава XV

Поскольку, вопреки всем ожиданиям, вновь остается промежуток свободного времени, который можно и, стало быть, нужно использовать, я – также и для поднятия настроения – собираюсь поведать Вам больше историй о домашних происшествиях, не про гробы и всякое такое, но вещей из обычной жизни, которые могут случиться с каждым и, следовательно, не имеют ничего общего с искусством. Вот две правдивые истории. Не про смерть, и даже не про болезнь, ибо случившееся нельзя было назвать настоящей болезнью: в первом случае речь идет о нехватке, во втором – о нездоровье, и то и другое – без сцены смерти, хотя я не знаю, живы ли еще фигуранты. Да ниспошлет им Господь мир и благодать.

Начнем с года Вочеловечивания 1954, посредственного винного года, который «забытые группы»[60] должны хорошо помнить.

Я тогда работал в одной лондонской больнице, *National Hospital For Nervous Diseases*. Нет, я не собираюсь ныть, дескать, как трудно мне было. У всех свои трудности, у Вас ведь тоже? Или у Вас

60 Т. е. люди, не получающие помощи от государства.

их совсем нет? Ну, тогда Вам надо бы к доктору, чтобы он Вас хорошенько осмотрел, ибо что-то тут нечисто.

Обстоятельства же были таковы: мне нужно было найти службу, работу по найму, стало быть, чтобы как-то себя обеспечивать, а иностранцу для этого требовалось разрешение на работу. Работать в госпитале уборщиком, кухонным мужиком или недипломированным санитаром – такого рода вакансии были свободны, и я получил приглашение на собеседование в эту больницу.

Молодой доктор отбирал кандидатов в санитарное отделение. Мне эта область показалась интересной, но, видимо, лучше бы я туда не совался. У доктора, который сперва должен был одобрить мою кандидатуру, тоже нашлись возражения, но я даже слушать не хотел. Прийти работать в эту больницу – тут у него никаких вопросов не было, но отчего же именно в это отделение? Лучше было бы мне пойти в уборщики или на кухню, и к тому же там у меня был бы постоянный график.

Но мне, разумеется, было лучше знать. Не то чтобы я дерзко действовал или высокомерно держался, но я не понял возражений этого человека или не желал их понимать. «Вы полагаете, что я для этого не подхожу?» – спросил я.

Доктор был милый человек и выглядел честным и чистосердечным. Я счел, что благодаря наивной невинности он казался моложе своих лет. Он, как я позже услыхал, слыл врачом весьма внимательным, всегда сострадал своим пациентам, и дополнительной особенностью было то, что он охотно брал под защиту и покровительство молодых людей, сам, вероятно, не сознавая, почему. Мужчин такого рода в те времена шепотком

называли *этический пидор*. Гомо, значит, но без того, чтобы кровь вскипала из-за тела однополого любимчика. Возможно, он был женат и счастлив, так же, как и его жена, кто знает. В мире никогда ничего не происходит по одному и тому же плану. Существуют мужчины, которые за всю свою жизнь совершили любовное деяние раз десять-двенадцать и тем не менее завели четырех детей: секрет в том, думается мне, чтобы всякий раз выжидать правильного момента, а потом бац! – и в яблочко.

Но я, стало быть, задал вопрос, что он имел против моего предпочтения – уход за больными. Милый молодой доктор долго смотрел на меня, потом сказал: “No, you shouldn’t do it: it will break your heart”[61]. Как он это предугадал, я не знаю, но он оказался прав. Я продержался на этой работе полгода. Это период, о котором я почти ничего не писал, только иногда в письмах – они сохранились, но, покуда я волен решать, публиковать их нельзя.

Уже в тот период я ощущал, что неким двусмысленным образом меня тянет к Римской церкви. Она, церковь, именует подобное притяжение «римской лихорадкой», которая в большинстве случаев проходит сама по себе.

В Лондоне было полно католических церквей, и хотя государственная религия была иная, в Англии можно было запросто принять католичество, и никто не считал это безумием и по этому поводу не острил.

Сии католические церкви были почти постоянно открыты, во всяком случае днем. Я часто заходил в них, но предпочитал часы, в которые не

---

61 Не стоит этого делать: это разобьет вам сердце *(англ.)*.

было Службы, ибо меня она несколько угнетала, и я даже слегка этого побаивался.

На свой лад они были красивы, эти церкви, хотя я содрогался, входя в них, возможно, оттого, что они редко обогревались, возможно, оттого еще, что я опасался встретить там кого-то, я имею в виду, какого-нибудь знакомого голландца, который заметит, что я вхожу в церковь. Могут сказать, что я шпионил сам за собой и, следовательно, не был нормален. Я никогда не утверждал, что нормален, и моя противоестественная наклонность красноречивее всяких слов. Я точно знаю, что часто ходил в эти католические церкви в Лондоне, хотя доказать этого не могу, ибо никто меня там не видел.

Римско-католические божьи дома в Лондоне были не современными, но практически всегда дешевыми имитациями классицизма или барокко. Один-единственный раз в здании была уже побитая непогодой стеклянная крыша, привносившая некую драматическую ноту, но в большинстве случаев внутри было сумрачно или царила полутьма. Стены по преимуществу были окрашены в грязно-зеленый или темную охру, местами попадались вылинявшие обои, некогда изображавшие цветочные фестоны. Порой невидимый органист играл для пустого зала.

Меня это трогало, но и взбадривало. Как бы мне это сформулировать? Была ли такая церковь храмом? Или могилой? Храм-могила, думается мне, и этим, возможно, я удовлетворю читателей. Учтите, что первый основанный мною клуб назывался *Клуб Склепов*: у кого была юность, у того есть будущее.

Но теперь к делу. Как я и обещал Вам, я собираюсь поведать о первой истинной истории, в которой говорится не о болезни, а о дефекте. Это было замечательное испытание, в той больнице.

Мне достался пациент, страдавший от сильных болей в ноге, которой не было, ибо она была ампутирована. Тамошние невропатологи называли это *phantom leg* (фантомная нога). Ноги этой, как я уже сказал, больше не существовало, и всё же она причиняла мучительные боли. Думаю, что в Нидерландах этого человека отправили бы домой, и уж точно, если бы выяснилось, что он был католиком, ибо там нам этого скулежа не надо. В Англии же, однако, понимают больше, нежели в Нидерландах, как, например, то, что распределение национального дохода некоторым образом, но не полностью, влияет на человеческое счастье. Чем больше англичанин знает, тем больше он понимает, что существуют вещи, недоступные его пониманию ныне, присно и во веки веков. Англичанин готов помочь страждущему – ближнему своему или животному, даже если это встанет ему в копеечку или будет сопряжено с опасностью для жизни. Это жертвенный и благородный народ. Томас Де Квинси уже полтора века назад писал, что англичан несправедливо причисляют к флегматичному типу, тогда как в действительности они относятся к типу меланхолическому, с весьма глубокими и весьма искренними чувствами. То, что французов он причисляет к сангвиническому типу, дело второе, хотя тут он попал в точку: фанфароны с эмоциями, но без чувства, для которых всё крутится вокруг вкусной еды, одежды и денег.

Кто был тот человек с ногой, которой больше не было, но которая значилась в медицинском рапорте, ибо причиняла сильные боли? Имени его я уже не помню. Эту ногу от потерял солдатом в битве при Дюнкерке, летом 1940-го.

В отношении его жалобы были достигнуты некоторые результаты, но результаты эти оказались недолговечными: боль неизменно возвращалась.

Он, пациент, рассказал мне свою историю.

Смертельно раненный, он попал в полевой госпиталь. Предстояла ампутация, но срочная, ибо на достижение какого-либо изящного внешнего результата времени не было. Выражаясь профессионально, речь шла о *гильотинной ампутации*: раз-два и нету, а потом как можно скорее закрыть рану. Потом, когда-нибудь, кость можно было бы как-то закруглить и задрапировать тканями так, чтобы получилась конечная форма, подходящая для протеза.

Человек этот был старше меня, ибо я в 1940 еще не достиг призывного возраста. Он рассказывал мне еще некоторые подробности, без какой-либо жалости к себе, а в конце дошло до признания. Он уже тогда был женат, в том 1940, но за день до сражения вместе с другими соратниками из своей компании впервые в жизни побывал у проститутки в одной французской деревушке. Не потому ли он лишился ноги, в наказание? Он хотел узнать это от меня. Я так не думал, ибо перед лицом Смерти человек ведет себя не так, как считал обычным и правильным. Я привел в пример древнюю фигуру врача на смертном ложе, который не мог не лапать молоденькую сиделку – не из-за банальной горячки в крови, но по зову самой Природы. Так

что же, хотел он знать, это не было грехом? Разве я тот, кто уполномочен решать? Но он определенно хотел знать мое мнение. Я сказал, что такие вещи лучше было бы не делать, но что я это грехом не считаю. К тому же я тогда, хотя только в мыслях, полагал грех старомодным и нелепым понятием.

Но он хотел спросить меня еще кое о чем. Он был женат, всё на той же женщине, что и тогда, и «никогда ей не говорил». А должен был сказать, считал он. Не считал ли я тоже, что он еще тогда должен был ей рассказать? Мне показалось странным, что он спрашивает о подобных вещах у меня. Но такое нередко случается: самые интимные вещи человек рассказывает не лучшему другу, а первому встречному.

И что я должен был с этим делать? Но мне нужно было сказать что-нибудь толковое, ведь он ждал этого от меня.

– Вы любите свою жену? – спросил я его. Да, он любил жену, и даже очень сильно. – Тогда не рассказывайте, – сказал я. Он задумался, но, мне кажется, так ни к чему и не пришел.

Меня осенило.

– Вы придерживаетесь какой-либо веры? – спросил я. Да: римско-католической. Означала ли эта религия всё-еще что-нибудь для него? Он полагал, что да: он был всё еще исповедующий католик.

– Возможно, вам всё-таки нужно кому-то рассказать, – сказал я, и голос мой обрел необычный тон, героический, или, возможно, даже театральный. – Вам просто нужно будет в совершенном одиночестве пойти в церковь или часовню, туда, где есть алтарь Марии, – сказал я. – Матери Божией, – прибавил я полноты ради, ибо

знал, что таков Ее титул у католиков. – Зажжете свечку и расскажете всё Ей – и никому более. – Меня даже самого дрожь пробрала.

Через день-другой его выписали домой, но перед этим, в один тихий послеполуденный час, он поманил меня к своей кровати, задержал мою руку в своей и поведал, что благодарен за мои слова и совет, и что совету этому последует. “You’re an angel in trousers, that’s what you are”[62], дрогнувшим голосом сказал он напоследок.

Это привело меня в некоторое замешательство. Есть вещи, от которых больше невозможно отделаться, как бы ты этого ни хотел.

Поскольку я незадолго до этого говорил о тех римских церквях, которые время от времени посещал, сам толком не зная, почему, я расскажу о них кое-что еще.

Это были не все церкви, но только те, что в северо-западных районах, населенных рабочими и мелкими лавочниками. Это не говорит о том, что церкви не были истинно католическими: нет, они были католические, и на это всегда указывала табличка, во избежание разочарований. Мне они казались очень красивыми, но Вы уже несомненно это поняли.

Я всегда по возможности избегаю предмета «искусство», ибо Вы желаете просто читать книгу, которая помогает Вам рассеяться и дарит удовольствие от чтения: о любви, о страданиях, о величии природы и мироздания, а также о животных, но культура вам даром не нужна, равно как и мне. (Вот так: я очень рад, что мы с Вами единодушны по крайней мере в этом).

---

62 Поистине, вы ангел в штанах *(англ.)*.

Но в церквях этих находились также и предметы искусства, которые я не стал бы ставить или вешать у себя, но которые мне нравились. Необычным было то, что не нужно было ни у кого спрашивать, что они означали, и что можно было прийти в волнение, не поглядев сперва в справочник, чтобы узнать, почему это красиво.

Деревянный Крест с прибитой к нему каменной фигурой Христа говорил сам за себя, и можно было сразу счесть его или прекрасным, или отвратительным. И в деревянной, каменной или гипсовой Мадонне, окрашенной акварелью или некрашенной, можно было узнать мать с младенцем. Для тех, кто не понимал с первого взгляда, что речь шла об особенной Матери и особенном Младенце, Мать несла на голове позолоченную корону, а Младенец – такую же, но поменьше, причем в одной ручонке он вздымал земной шар с крестом на нем, а другой указывал на крошечную свою грудь, из коей выпирало наружу детское сердечко, в большинстве случаев позолоченное и окруженное позолоченными лучами. Я считал, что всё было так, как и должно быть: не нужно было сперва идти на лекцию с диапозитивами, чтобы узнать, что об этом думать. Мне это казалось красивым, я это честно говорю, ибо на кой Вам вранье сдалось.

Но то же самое, по сути дела, можно сказать о картинах. Это были по большей части запыленные и потемневшие от чересчур толстого слоя лака произведения искусства нашего или девятнадцатого века, всегда довольно большие, но это оттого, что в те времена не всякий мог позволить себе бесплатные очки от рекламы телеящика.

Если у тебя имеется нечто большое, то не нужны тебе никакие очки, чтобы это большое разглядеть, так-то вот.

На самой нижней рейке рамы всегда была прибита металлическая полоска, заржавевшая, но текст было прочесть можно.

Совершенно прекрасной казалась мне огромная четырехугольная картина, в верхней части которой, в центре, парил голубь с распростертыми крыльями, посылая из своей груди на землю пять отчетливых лазерных лучей. Внизу стоял, воздев руки к небу, человек с лысиной в полголовы. Пять лучей образовывали раны соответственно на обеих ладонях человека, обеих его голых ступнях и на его голом боку. На металлической пластинке значилось в двух строках: СВ. ФРАНЦИСК / ОБРЕТАЮЩИЙ СТИГМАТЫ. Я был очень доволен этой картиной, написанной профессионально, хотя и без претензий на музейную непогрешимость.

Для всех остальных картин, которые я видел, всякий раз действовало то же правило: можно было всегда увидеть, что они изображали, это было красиво, и ты сразу это понимал, хотя, если не мог определить исторические корни картины, всегда можно было обратиться к металлической табличке внизу. Не припоминаю на этих табличках текстов вроде: ПРОИСХОЖДЕНИЕ; ПРОИЗВЕДЕНИЕ; КОМПОЗИЦИЯ, или: БЕЗ НАЗВАНИЯ.

Некоторые картины были подписаны, в большинстве случаев разборчиво, и никогда – именем всемирной знаменитости. Меня это не смущало, ибо для меня они были ценны тем, что доставляли наслаждение.

Я внимательно оглядывался по сторонам, но никогда не встречал полотен Мондриана или

Ритвелда, так же как и пацифистских скульптур Зата Кина[63] или истощенных фигур Джакометти. Один-единственный раз случился череп, но и то без противогаза или колючей проволоки.

Смерть уже у тебя есть, я хочу сказать, но жизнь – это то, что ты из нее делаешь.

63 Имеется в виду скульптор Осип Цадкин (*Ossip Zadkine*, 1890–1967).

Глава XVI

Да, теперь вновь что-то: внезапно какая-то женщина сказала: «везут». Я всё еще стоял со всеми этими людьми перед запертой дверью церкви, Вы помните. Возможно, эта женщина имела в виду, что издалека заметила приближающийся черный автомобиль с его печальным грузом, но она была ростом ниже меня, и, так же как и я, не могла ничего увидеть из-за поворота дороги. Кроме того, она была слишком по-мирски одета, скудно, я бы сказал, и слишком сильно накрашена. Я к женщинам отношусь с большим пиететом, но увы, существуют также женщины, которые слишком безнравственно или вызывающе одеваются, дабы предлагать себя мужчинам за деньги; это некрасиво, но мы не должны судить сгоряча. (В моем родном городе у таких женщин водится привычка: если неподалеку от них случается пожар, со всех ног бежать на место несчастья, чтобы там, пристроившись как можно ближе к огненному морю, вопить с перекошенным от горя лицом: «Там еще ребенок остался! Там еще ребенок остался!» Такое соучастие ближнему уже стоило жизни не одному пожарному, чье обугленное тело было потом найдено, в отличие от тела

того «ребенка». Потому-то некоторые художники и скульпторы считают подобных дамочек «идеальными женщинами», которые «ни при каких обстоятельствах не могут отсутствовать в городском пейзаже».)

Так что же мне было делать? Я обещал Вам два рассказа, верно ведь, один – о нехватке, второй – о нездоровье. Тему нехватки я со всем усердием уже изложил и, таким образом, могу еще быстренько рассказать Вам историю о нездоровье, ибо та женщина в группе ожидающих сболтнула бог весть что, этакого рода ложная тревога об угрозе взрыва, хотя в те времена подобные вещи еще не вошли в моду.

Спектакль имел место быть четверть века назад, а год можно уточнить.

Мне нужно было прочесть лекцию по материалам моих книг в летнем студенческом лагере при Католическом университете Неймегена.

Дело происходило в палатках – романтично, спору нет, но несколько хлопотно, ибо всё это было совсем рядом с Неймегеном и я подумал почему они устроили это мероприятие не под обычной крышей в обычном здании в кампусе, потому как с погодой никогда не знаешь. Но, к счастью, многие сохраняют романтическую невинность юности. Ибо какой взрослый втайне не мечтает вернуться в примитивную спальную палатку в саду за домом, когда тот двоюродный братик приезжал с ночевкой? Конечно, тогда случилось кое-что, расстроившее родителей, но всё же нечто сказочное и священное, то, что, вероятно, никогда больше уже не повторилось.

До выступления оставалось почти полтора часа, и я расположился в большой, скромно, но практично оборудованной палатке, где обоснова-

лось правление лагеря. Всё было хорошо организовано, и власти определенно содействовали. Все до одного были там католики, и мне думается, что о военных палатках, полевых кухнях, столовой утвари, спальных местах и прочем необходимом позаботился некий благочестивый католический генерал, ибо там стояла в боевой готовности даже военная машина скорой помощи. На севере страны такое не было бы возможно, ибо там думают эти католики пускай они сами себе помогают потому как они всегда помогают только своим, и с теплыми местечками тоже, и везде за все нитки дергают, если случай им выпадет. И всё же я думаю, что любой, кто не был католиком, в том католическом лагере получил бы помощь, как всякий католик. Еда, кстати, была очень хорошая, хотя я в этом не разбираюсь. Кормили от души: огромные куски мяса или огромные же рубленые котлеты, поистине пиршественный стол для обделенных судьбой, которые нажирались до отвала, ибо кто знает, а вдруг завтра уже не будет или война начнется. Я такое очень даже люблю, потому что сам из народа. Оттуда и знаю, что народ надобно подавлять и никогда не давать ему дорываться до власти. Но сам я предпочту рабочего парня, нежели политолога, потому как тут речь идет не об уме, а о сердце.

Выбранная территория представляла собой великолепную старую буковую рощу, в которой были прокопаны весьма изящные дорожки и тропинки. Атмосфера, то есть воздух, была безоблачна и чиста, одним словом, стопроцентная природа, но, правда, тяжелая, обремененная запахами земли, деревьев и удивительных и многочисленных растений, изобильно цветущих в сумраке;

прежде я таких никогда не видел. Я сразу подумал, что не каждый это вынесет. Подумал я так потому, что сам в подростковом возрасте был предрасположен к астме, а потом очень сильно страдал от сенной лихорадки. С годами она стала ослабевать; когда я примкнул к католической церкви, стало еще легче, а когда я почувствовал себя в ней как дома, прошло совсем. Возможно, между тем и другим была некая связь, но с медицинской точки зрения это статистика единственного случая. И вечно что-то, поскольку через некоторое время я бесплатно заполучил кое-что другое: в обмен на астму и сенную лихорадку, от которых я избавился, у меня возник синдром внезапно опухающей физиономии, обычно когда я сильно переживал из-за чего-то и, прежде всего, когда мне предстояло что-то, чего мне очень не хотелось, например, быть представленным какой-либо высокопоставленной персоне, к которой я питал почтение. Тогда почти вся моя рожа превращалась в дикое зрелище: вздутые веки, щеки, лоб и подбородок, а во рту – разбухшая слизистая. Страшновато выглядело. Мой врач выписал мне таблетки эфедрина, и они сразу же помогли, так что я не был безнадежен. Эти таблетки я держал под рукой, ибо всегда могла, например, появиться некая высокопоставленная особа, не только из любопытства, но также из-за искреннего интереса. А эти таблетки помогали, то есть я был в порядке. И я мог и другим помогать. Я решил, что это дело хорошее. Люди нынче глотают что ни попадя, а какой в том для них прок? Этим вопросом они, похоже, никогда не задавались.

Теперь моя рожа никогда больше не распухала, благодаря восстановленному равновесию между душой и телом. Я и пишу теперь лучше, поскольку

второстепенное всё оставил как есть, дабы обнажить ядро нашего существования, которое часто велико, но также и жутко. Нет, я больше не избегаю битвы.

Как я уже писал: я находился в большой палатке, где квартировал командный пост летнего лагеря. И вдруг кто-то вошел и доложил, что в больничной палатке лежал мальчик, у которого случился приступ астмы. Доктора предупредили? Да, и доктор был уже в пути. Ну, хорошо.

Вестник был собою не интересен: тускловатые волосы, которые, возможно, были чистыми, но казались немытыми и к тому же покрывали всего лишь часть его черепа. И старый притом, явно к тридцати, и с такой рожей, которую не продашь нигде. Он ухаживал за больными, и это было похвально: счастье любви, юности и красоты, в коих ему было отказано Господом, он безотчетно дарил больным, как истинный христианин. Да, это в самом деле было прекрасно.

Так что посыльный меня не воодушевил, но весть, принесенная им, возбудила меня и привела в почти безрассудный экстаз. Мальчик, который лежал в палатке, совершенно один и вдали от мамы, потому что у него случился приступ астмы! В сущности, точно такой же мальчик, как и я, и такой же одинокий, ибо я ведь был ужасно одинок? Одинокий писатель – это хорошо продается, всё равно что быть трансвеститом в Рио-де-Жанейро. Да, мысли мои от возбуждения метались. Я довольно нагло поинтересовался, можно ли взглянуть на мальчика? У меня самого астма, так что я мог бы его немножко успокоить, чтобы он так уж сильно не волновался. И да, представьте себе: вестник счел, что это недурная мысль, мне просто нужно было проследовать с ним.

И мы пошли, по дороге к неизвестному или слишком уж известному. Вестник шел впереди меня по несколько неровной территории, и я разглядывал его фигуру. Сзади он выглядел очень даже ничего, а я никогда не был привередлив. На нем были летчицкие штаны зеленого, почти черного цвета, сидевшие довольно тесно, так что его бедра и любовные – возможно – холмики при каждой неровности почвы отчетливо обрисовывались. Тот, кто не может заполучить никого, становится иногда озлобленным и раздражительным, но, возможно, в нем жила рабская благодарность за всякое прикосновение, ибо такое тоже существовало: об этом даже книги есть. Я слишком уж разглядывал его башку, но башка ведь не всегда нужна? Как часто мы эту башку выбрасывали, из-за материального-то благополучия, а ведь из нее еще можно было сварить добрый бульон! Я думал о том, что если я в этой палатке спущу разок штаны с его задницы и толкну его на этого астматического бедняжку, для упругости, а потом просто возьму его и стану обладать им, ну, сзади? Этот астматический мальчонка кричать не может, только пищать. Да, доктор может внезапно зайти, но тогда я сказал бы, что мы пробуем двойное искусственное дыхание, ибо нередко это помогает. Докторам с чем только не приходится иметь дело, но болтать у них права нет.

Это были просто помыслы, но они шли на пользу моему кровообращению.

Мы пришли в полевой лазарет, на котором еще красовался настоящий Красный Крест, хотя и немножко поблекший. В такой палатке могло происходить всё, что облегчало страдания, нельзя было только входить с оружием или нападать.

Там, внутри, обитали горе, боль и смерть, но также и помощь, исцеление и возвращенная жизнь. *Бросай оружие!* – я где-то такое видел, в книге или альбоме, но не был полностью с этим согласен, ибо разве не доводилось в такой палатке Брату или Сестре подкачкой приводить в стоячую позицию любовное орудие одинокого-солдата-без-матери и подготавливать его к команде «пли!»?

Но вот мы вошли в палатку, и мне нужно было самому посмотреть, что там: большая ответственность.

На узкой раскладной кровати лежал мальчик. Я заметил всего один стул и замешкался, ибо, возможно, он принадлежал посыльному и для меня не предназначался. Я остановился поближе к изголовью кровати и этаким приподнятым тоном сказал не помню толком, что именно, но, сдается мне, нечто вроде я просто пришел взглянуть, потому что у меня тоже такая штука так что я просто зашел посмотреть как дела.

И вестник, и я по-прежнему стояли – положение было неудобное. Я подумал мельком, что у меня было то же, что и у мальчика, это да, но я задался вопросом, а не было ли у мальчика также и чего-то другого, что и у меня, от рождения, ну, скажем, определенной наклонности. Вопрос возник в ту же секунду, как только я увидел его, и самое лучшее, разумеется, было бы исчезнуть как можно быстрее, ибо я мог навлечь на себя только неприятности.

И что вы думаете: тут же началось! Ибо лысеющий вестник с забракованной рожей спросил, не могу ли я немного побыть наедине с пациентом, ибо ему, вестнику то есть, надобно отлучиться, чтобы переменить повязку кому-то, кто вчера

в кухне обжег руку о внезапно вспыхнувший *примус*. Проблема была не в том, что ему срочно нужно было выйти, а в том, что он пообещал «как можно скорее вернуться». И к тому же еще был доктор, за которым послали, и он с минуты на минуту должен был вернуться, никуда не уходив. Наука умеет много гитик, но с индивидуумом никто больше не считается.

Что мне остается делать, кроме как всё Вам рассказать? Стало быть, я остался наедине с мальчиком и уселся на тот единственный стул у его ложа.

Раскладушка была рассчитана только на одного, не только что касалось широты, но и в отношении нагрузки. Две деревянные жерди в головах и ногах несли висящую между ними парусину. Если в одной из этих жердей по несчастливой случайности оказывался сучок, то ты мог крик-крак задом приземлиться на пол, только лишь попытавшись приподняться. Любви в армии не место, поскольку считалось, что она подрывала боевой дух.

Но между тем – я почти не решаюсь написать это – на раскладушке сей лежал не кто иной, как *Беспощадный Мальчик*.

«Ну-ну, полно врать-то, – скажете Вы, – ибо ваш этот горячечный бред начинает нас порядком утомлять. Эти сексштучки, которые Вы описываете, они у нас поперек горла стоят, и глотать уже сил нет». И это в то время как для меня это всё только поклонение, по большей части, также и этическое. Беспощадный Мальчик возникал уже в 1966, в новелле под названием «Письмо, написанное в ночи» – она была тут же включена в мой приключенческий роман «Ближе к Тебе», лишивший сна многих читателей. И тогда тоже он являлся мне, и также в палатке, как многие помнят.

Кто же это такой? Он не упоминается ни в книгах современников, ни в каких-либо других вдохновенных источниках. Он жесток, он желает мучить мальчиков и в то же самое время быть очень милым с ними и осыпать их всяческими подарками, так что повсюду он изгнан. Не распространитель ли он *ревизма*? Положительно, он олицетворяет нечто, грядущее в мир. Захочет ли он присматривать за моей могилой? Я не решаюсь спрашивать о таких вещах, но ценить бы это я стал. (Я пишу для людей, а также для многих зверей, которые даже не умеют читать. Значит, то, что я пишу, должно быть понятно, если только это прекрасно и дарит утешение всем, кто в нем нуждается).

Возраст Мальчика было определить не так просто, но он казался моложе, чем был, это ясно. Он был определенно привлекателен, с красивым, страдальческим и худощавым лицом, на котором умопомрачительно сияли большие голубые юношеские глазищи с длинными ресницами – возможно, у него был жар или легкая температура. Да, он был слишком красив, поистине недосягаемое божество для отроковиц и урнингов, но о до чего одинок – с четырехкратным риском покончить с собой или разбиться в лепешку в автомобиле. Да, красота порождает одиночество. Потертая военная подушка без наволочки и такая же конская попона, покрывавшая его тело, усиливали впечатление одинокого благородства, нежели смягчали его. До чего прекрасный зверь, но какой же маменькин сынок! Его нужно хорошенько наказать, тогда и астма моментом пройдет, уж это точно, хотя он уже порядком попискивал, словно при первой помощи в ночном фильме. Я

попытался оставаться хладнокровным и спросил его, не хочет ли он моих таблеток эфедрина. Нет, ему нельзя, доктор не разрешает.

Взгляд мой ощупывал его тело. Он лежал на спине, на нем была голубая рубашка, приоткрытая сверху и слегка помятая, но она ему шла. Расстегнуть ли мне ее дальше или просто рвануть, да так, чтобы пуговицы посыпались, или лучше не надо?

Была ли на нем под поясом одежда? Тонкая конская попона точно обрисовывала формы нижней части его тела, но в определенном месте я не заметил возвышения, которому надлежало там быть. От страха штуковина порой вырастает, но иногда и прячется в свою ракушку. Или же у него сызмальства пипка, как у девчонки? Рот был большой, и мелкие трещинки на губах делали этот рот еще более ненасытным и жестоким. У него были длинные узкие ладони, преисполненные чувствительности и жестокости. Крупный рот и большие кисти рук всегда означали, что кое-где кое-что тоже здоровенное, или, по крайней мере, существенных размеров. Может быть, он свое орудие любовного наслаждения зажал между ног, ибо всё в нем взывало к утолению, власти и мучительным ласкам. Но теперь он должен был сперва подвергнуться наказанию. Ведь не за астмой же я к нему в палатку пришел?

Дышать он еще мог вполне, счел я, и это было уже кое-что. Усесться или улечься на него – не вариант, учитывая ветхость раскладушки, о чем я Вам уже поведал. Но вот что можно было, так это положить одно колено на стул, а другое – ему на грудь, и вправо-влево-вправо-влево надавать ему здоровенных шлепков по физиономии, никакой

пощады, значит. Что еще можно было, это в той же позиции извлечь мое любовное орудие, дабы оно воспламенилось на его юношеском лице. Нет: бить было бы всё-таки лучше, ибо тогда можно было бы продолжать сколь угодно долго, и он бы знал точно, что ты его любишь. Сперва одно, потом другое, да, можно и так, как-то я сразу об этом не подумал.

Но время поджимало, вот в чем досада, и мягкая лесная почва не позволила бы услыхать приближающиеся шаги. Посыльного я не боялся, ибо тот либо грянулся бы бездыханным, либо попробовал бы присоединиться, и уж точно не поднял бы тревоги.

Но с доктором могли возникнуть проблемы, поскольку он обучался, и присяга ему диктовала, чтобы всё было принципиально высшего качества: брызгать кому-то в лицо своим любовным соком – это преступление против Св. Духа, гомопатия то есть, и к тому же шарлатанство, и он бы это так не спустил.

– Дух тут такой тяжелый, – зачастил я. – Не то чтобы меня сильно напрягало, но всё-таки чувствуется, что тут как-то уж очень промозгло.

Мой юный голубчик пискнул в ответ что-то неразборчивое, но какая разница. Больше не будет настоящей войны, когда его можно было бы взять в плен и пытать голого, пусть даже и без помощи молодых собратьев по наслаждению, столь же красивых и любящих его так же, как я. Нет, не убивать его и не уродовать, но еще более ожесточить его самого, так, чтобы он при каждом допросе мог протягивать руку помощи мне и моим «мальчикам». Ах, ах, с моей униформой я давно уже расстался, просто выкинул при переез-

де, и подобрал ее, возможно, какой-нибудь шаромыжник, который теперь радостно ее напялил и оскверняет знаки моего ранга своей тунеядской перхотью. Вот так вот.

Война омолодила народ, но нынешний народ полагал, что и без войны можно было обойтись. И что же изучала нынешняя молодежь? Можно ли это еще называть учебой?

Учиться, да, что-то я об этом такое сказал. Спросил себя, был ли этот испуганный милый белокурый трясогузик в самом деле студентом, и если да, то как он себе представлял «найти свой путь в социуме». Вот чего обществу крепко не хватало, так это астматиков, да? Ну конечно: можно всегда удариться в политику и попасть в совет, муниципальный или экологический. Что он изучал-то?

– Ты еще учишься? – спросил я, малость по-идиотски, но это была не помеха.

Пип-пип, хиип, да, он всё еще учился. И что же он изучал? Самое легкое было политология и андрагогика, ибо после «кандидатского» можно было сразу сесть на *пособие* или, как в его случае, на *пособие по болезни*, быстро, легко и просто. Но я думал кое-о чем еще, и внезапно понял, что это было, а почему, одному Богу известно. Да, вот оно, иначе и быть не могло: это была тема его исследования.

– Чему же ты учишься? – спросил я пространно. – Что изучаешь? – «Мне известно, – злобно подумал я. – *Мне* известно, что *ты* изучаешь».

Снова раздался писк, но теперь с бóльшим усилием и бóльшим чувством.

– Пи, пи! – услышал я. «Господинчику нужно по-маленькому?» – подумал я на детском языке.

– Пи, пи, пси, – прозвучало теперь. И сразу же за этим, словно последнее напутствие перед Большим Странствием, я услышал: *«Пси! Хоо! Лоо! Гия!»*

В тот же момент вошел доктор, крепко сбитый человек, который, как я заметил, шел чуть ли не бегом, что было хорошо для его личного минздрава, а также для здоровья пациента, ибо тут речь шла о человеческой жизни.

Человек переживает что-то, а потом думает да в общем и ничего такого особенного; даже, по сути дела, и рассказать нечего.

Да, что касается *психологии*, специальности то есть, это правда, и некоторым образом даже забавно, но только в качестве мотива, а не темы. Ну не трагично ли? Нет, возможно – почти, но еще не совсем, так я думаю. Жалко, да, это сколько угодно, но кому оно нужно, жалкое-то.

Глава XVII

И тут случилось то, чего я не ожидал: дверь церкви отворилась, и это в то время как, по моему мнению, гроба еще не было, разве что его как-то протащили внутрь через заднюю дверь. Вместе с другими ожидающими я поплелся внутрь. Давки не было, ибо церковь была достаточно просторна, и речь тут шла не о фильме или каком-либо другом развлечении, когда человек желает сидеть не слишком близко, но и не слишком далеко; и совсем уж сбоку – тоже удовольствие ниже среднего, прежде всего когда дело касается просторного зала с маленьким экраном.

Я, разумеется, сразу же стал озираться в поисках гроба, но его нигде видно не было, и это я воспринял как дурное предзнаменование. Ничего хорошего от этих похорон ждать не приходится, подумал я. При жизни может случиться что угодно, предвиденное или непредвиденное, ибо судьба порой совершает причудливые, а то и совершенно безрассудные повороты. Однако после смерти ничего уже не может пойти наперекосяк, полагал я. Ведь покойник больше не сможет совершить ошибку, что-то забыть и тем более перепутать понятия «14.00» и «2.00» по той простой причине,

что он мертвый. Еще в меньшей степени имело значение, был ли он молод или стар и насколько тяжел был удар для его близких, хотя, разумеется, к их скорби относились с почтением. В крупном бюро ритуальных услуг могли перепутать двух покойников – простая халатность, но такого практически никогда не происходило, и в городке этом редко когда случалось больше одних похорон в день. И это еще надо умудриться проспать, если у тебя назначено на два часа пополудни.

Я начал волноваться. Смерть по чьей-то глупости, или, как знать, из-за слишком поверхностного диагноза в больнице, а глубочайшей причиной этой смерти – по крайней мере, на мой взгляд – была судьбоискусительная веселость сиих жизнерадостных людей, которым всё казалось уникальным и которые изготавливали собственные шахматные доски и кровати с балдахинами: все эти происшествия теперь не играли никакой роли. То есть что-то тут не состыковывалось, счел я.

Слева была кафедра, и прямо возле нее я заметил Жанну, мать Жан-Люка, пытавшуюся говорить с кем-то, но я видел, что лицо ее неподвижно, мрачно и казалось опухшим. Со своими цветами, три букета гвоздик по цене двух, а то и меньше, я точно не знал, я подошел к ней, поцеловал ее и прижал к себе, что-то пробормотал и проследовал дальше, чтобы положить цветы и собственноручно подписанную лиловую траурную открытку на возвышение у кафедры, в числе других букетов. Я не хотел опять сталкиваться с Жанной, пробрался назад вдоль стенки и уселся в левой половине зала на самый крайний стул, так, чтобы иметь возможность уйти, когда мне заблагорассудит-

ся, никого не беспокоя, ибо мне, вообще говоря, хотелось уйти, не из-за непочтительности, но потому, что я рассердился на то, что организация никуда не годилась. Плохая драма и плохой театр были гнусным преступлением и, по моему мнению, нарушали космический порядок, угодный Господу. Да, плохая драма была куда хуже, нежели полное отсутствие драмы. Либо празднуешь что-то, либо ничего не празднуешь. Если тебе не хватает мозгов, чтобы устроить покойнику праздник, то надлежит тебе и еще двоим-троим покойника самим вынести, опустить его в землю, преклонив колени или не преклонив, произнести приветствие или молитву, а потом опять домой, в кровать, выпив или не выпив. Либо одно, либо другое, я вот так всегда считал.

Тихонько заиграл орган, но вместо того, чтобы внимать ему, я заскучал. Что-то не так делали пастор и несколько других важных персон, которые беседовали, сгрудившись вокруг Жанны? Нет, всё они делали так, но что именно? И всё-таки намерения у них были добрые: я не должен был судить несправедливо.

Я огляделся, но нигде не видно было красивого мальчика; как же так? Если тебя хоронят, а поблизости нет ни одного красивого мальчика, то ты мог с тем же успехом оставаться в живых, ибо что ты получил взамен? Всё это только деньги на ветер.

Ситуация была трагическая, это я тоже понимал, но нужно было уметь из нее выбираться, что-нибудь с этим делать, пытаться создать атмосферу. Да, точно, вот в чем дело: атмосферы не было.

На улице стояла приятная погода, не то чтобы день для пляжа, но всё-таки солнечный и мягкий, отчего же в этом здании церкви было так холодно и сыро? Потому что современный человек был против Смерти? Французы из реформированной церкви были современными и считали гомосексуальность, абортус провокатус, проституцию и много чего еще совершенно прекрасным, и своей толерантностью позволяли другим разжигать ими печку, но самим господень дом обогревать – увольте, а я мерз. А я ведь здоров как бык, то есть определенно не мне одному было холодно.

Мог ли я еще уйти? Никто бы не заметил, но поступать так было не в моем характере. Слово «долг» означало для меня очень многое, и так будет всегда. Страдания другого тоже были моими, независимо от ранга, положения, религиозных убеждений, этнического происхождения или пола. Я гораздо больше интересовался мальчиками, нежели девочками, это правда, но и девочек я ценил высоко, частично из-за благоговения моего перед Матерью Божией, которая была женщиной, Утешительницей Скорбящих, покровительницей гомосексуалов, что уже достаточно курьезно, но также и алкоголиков, матросов и даже зверей, которые взывали к ней в нужде или боли. При этой последней мысли глаза мои увлажнились, и я проглотил комок в горле; да, Она проявляла милосердие даже к животным, возможно ли, и всё же это было так.

Где-то позади меня раздался шум. Я оглянулся и увидел, что наружная дверь – которую заперли, после того как она впустила живые души – теперь с некоторым лязгом вновь отворилась. Но другая дверь, двустворчатая – для того, чтобы особо

проносить крупные предметы – ее хотели тоже открыть, и для этого нужно было ее отпереть. Я понял, в чем дело: надлежало впустить возлюбленного покойника.

Некие странные личности – о коих позже – втолкнули внутрь довольно высокую тележку на четырех колесах, на которой покоился гроб, покрытый серой простыней. Что-то с этой тележкой было не так: то ли колесо было неправильно установлено, то ли оно было плохо смазано. Тележка представляла собой заборчик из металлических планок из конструктора какого-то больного ящуром художника-инвалида, поскольку была нестабильна и шаталась почем зря. Смотреть было страшно, как эти четыре лютых гнома изо всех сил подпихивали и в то же время пытались держать курс сего устройства. Я смотрел и старался не злиться: «Не суди, да не судим будешь». Конечно, тому невротику легко было говорить, и к тому же это потом и в печати появилось. Но я не хотел язвить. «Смотрика, его укачивают, – подумал я. – Богу виднее, чем нам с тобой». И я опять подумал о Ней, Матери всего живого, которая заступничеством своим, всегда удачным, давно всё для Жан-Люка устроила при помощи прекрасной коробки красок и потрясающего набора инструментов. О, на Нее, на Нее одну надлежало уповать нам, и тогда всё устраивалось хорошо. О, как любил я Ее в этот час тревоги!

В прежние времена, да, в прежние времена, но прежние времена прошли. Тогда покойников доставляли торжественно. Конечно, с этой хренью, может, и перегибали малость палку, но по крайней мере было почтение, которого сегодня днем с огнем не сыщешь.

Все сотрудники похоронного бюро носили тогда безукоризненный черный костюм с изящными серебряными галунами и черный как смоль «цилиндр», на котором не было ни пятнышка. В народе их несправедливо называли *вестниками смерти* или *воронами*, тогда как это был честный дополнительный заработок для парикмахеров и служащих парикмахерской.

В нынешние времена всё было – скверна, хаос и очернение величия Смерти, а попытаешься что-то возразить, тебе смеются в лицо. Но не хочу занудствовать.

Вихлявшую тележку остановили недалеко от кафедры и сняли с нее серую простыню. Гроб выглядел шикарно, но где была гарантия, что на его изготовление не пошли прессованные яичные скорлупки из придорожного ресторана? Никто это не исследовал. У всех на устах было слово «гласность», но теперь всё совершалось тайком, исподтишка, втихую. Да, так оно и было, и неописуемо, что человек сделал с миром.

Я хотел воскликнуть *Да Здравствует Смерть* по-французски, иронически, но пастор уже приступил к делу на кафедре. Я слыхал его прежде, на похоронах некоего ветерана, у которого было всего одно легкое, но это к делу не относится. Горлопан он был, луженая глотка, этот пастор, я имею в виду, а я этого не любил. Я не рычал и возвышал свой голос лишь аллегорически, и только тогда, когда должен был сказать нечто важное не только для себя, но и для других.

Я пытался прислушиваться к выспренним соболезнованиям, но при этом смотрел в сторону, на четырех носильщиков, сидевших в отдельном ряду вдоль стены. Меня поразило то, что они

были не в пристойной и чистой рабочей одежде, а в грязных обносках, словно хотели тем самым продемонстрировать отвращение и презрение к ритуалу. По какому праву? спросил я себя.

Одного из этих четырех недочеловеков я знал в лицо. В деревне его избегали – из-за мелких грешков, не то чтобы непристойность или насилие, нет: просто всегда потаскивал по мелочи – в заброшенных домах или навечно припаркованных автомобилях, что-то вроде того, говорили люди, но насколько это было правдой, я не знал. На ярмарках он торговал лотерейными билетами, это правда, и билеты эти были настоящие, но он всегда недодавал сдачи: такое тоже бывало. Я взглянул еще раз и уверился в том, что он был в том же самом драном красном свитере, который был на нем во время похорон ветерана с единственным легким. И огромное пятно от арахисовой пасты на этом свитере было то же, что и тогда, это я видел отчетливо. Гнусный сюрприз, ибо каким образом могло появиться на одежде француза пятно от арахисовой пасты? Может, он ее пить пробовал, Бог его знает.

Тут случайно и пастор его упомянул, Бога, стало быть, но увлечь меня не сумел. Нужно во что-то верить, так я понял, и если в это поверил, то оно и есть истинно. Я не был знатоком Писания, но сие понятие счел неверным. Нечто было истинным, и поэтому ты в это верил, так я думал, и ты должен быть с этим согласен, но даже и это не всегда нужно.

Пизда лысая, а не церковь это была, повсюду с опозданием, даже на похоронах, и нигде ни карточки, ни картинки, ни статуи, которую можно было бы почтить, затеплив перед нею свечу и прекло-

нив колени. При этом тебе не нужно было совершенно ни во что верить, ибо статуя стояла там, верил ты или нет. Никто не обязан был во что-то верить в моей Церкви, лишь бы ты был добрым католиком, регулярно ходил бы к Мессе, при сборе пожертвований давал бы чуток денег, а порой и побольше, для миссии. И время от времени покупал бы что-то у католических мальчиков, когда они звонили в дверь – для доброго дела, вафли или блины, которые оплачиваешь заранее, а потом тебе их приносят разогретыми. Или пакет яблок, платишь сразу, сразу и получаешь, вкуса никакого, но и стоят всего ничего. Римско-католический плодовод предоставлял их бесплатно, с условием что римские Гномики или Морские Скауты сами будут их собирать, ибо тогда ему, этому, значит, католическому плодоводу, не нужно будет напрягаться самому, чтобы потом всё равно тащить яблоки в компостную яму. Нет, верить было не обязательно. Я такие яблоки порой скармливал посетителям, кому-нибудь, кто, к примеру, заходил на огонек. У них был забавный вид, когда они от этого яблока откусывали, этак внимательно пробовали в духе я в самом деле ничего не чувствую или это мне только кажется. Никто не сознавал, что участвует в строительстве Царства Божьего.

Нет, эта «реформация», никуда она не годилась. Ошибка крылась уже в самом слове, означавшем «преобразование». Это было совершенно невозможно, преобразовать что-то, за исключением спеси, шедшей с этим преобразованием рука об руку. Просто опасное новшество. Ибо что было не так с Мирозданием? Ведь всё было, как тому и надлежало быть: Природа, Песни, Звери,

которые глядели на нас, и уже один взгляд их свидетельствовал о благочестии, и которых моя Церковь была готова также благословлять – наряду с автомобилями, мотоциклами, мопедами и спортивными велосипедами. Даже птиц, их тоже, но им надобно предложить клетку, не то церковь превратится в *volière* и птицы будут ронять кучки, может быть прямо на голову ангелу, святому или даже более Высоким Персонам, не в насмешку, но из благочестия, потому как птичка думает денег у меня нет, а дам-ка я что-то, с чем расстаться жалко.

И всё же Бог этого преобразования хотел. Будучи писателем – а я перевел много иностранных пьес – я видел в этом и позитивное. Эта Реформация позаботилась о трех переводах Вечного Слова Божьего: перевод Короля Якова; так называемый Официальный перевод; и перевод Мартина Лютера, 34 года просидевшего взаперти в крепости, гораздо дольше, стало быть, чем я. Эти три перевода были основанием литературного английского, нидерландского и немецкого, хотя голландские читатели новостей сказали по телеящику, что пора бы издать Книгу на понятном языке, с намеком на «вы не знаете всего того, что знаю я». Воистину благодать это средство массовой информации, уж точно для народа, среди которого более чем 9% неграмотных. Нужно только покувыркаться с кем надо, и попадаешь на Ящик прямо в процессе. Но нередко бывали также и прекрасные фильмы о природе.

Проповедь была чересчур затянута. Потом заиграл орган, под который приход запел песнь, мне незнакомую, то есть не ту, что «как жаждет

лань к воды потокам»[64], которую я всегда считал невыразимо прекрасной.

А теперь я подумал как-то всё сильно затянулось но авось как-нибудь обойдется. Гроб нужно было внести внутрь и запихнуть в автомобиль, уложить сверху цветы – и отправится он на богову делянку, до которой даже черепашьим шагом было менее четверти часа. Но я ошибался. Не в расстоянии, но в длительности программы. Было еще кое-что в довесок.

На кафедре стали по очереди появляться шестеро мальчиков, которые декламировали нечто, ими самими сочиненное и записанное, имевшее по большей части отношение к возвышенному характеру взаимопонимания.

Идеализм и красота уживаются редко, и из этих шестерых мальчиков, или молодых людей, только один был привлекательным, остальные – отбросы, прошу прощения за это слово, но так оно и было.

Этот единственный привлекательный мальчик – смуглый, с черными как ночь прямыми волосами и глубокими темными глазами, – на довольно простом английском прочел глубокомысленную, но непонятную прозу о любви, солнце, природе, будущем и горизонте, в этом духе. Не белый, стало быть, но понравился мне уже с первого взгляда. Хотя я и подумал, что он наверняка ничего такого сам с собой в постели не делал, из соображений «чистоты». Но уже скоро я отбросил это подозрение: он не проливал свой любовный сок, онанируя, но сохранял его, дабы еще чаще, яростнее и жесточе впрыскивать его в первый или второй ротик других мальчиков, как бы отчаянно они ни бились и ни молили его о

64 Псалм 42 стих 1.

пощаде. Он хватал любого мальчика и овладевал всяким, которого возжелал, о этот прекрасный жестокий зверь. Его похотливость и жестокость не смущали ни ранг, ни положение, ни раса. Так что он хватал также и белых, белокурых мальчиков и столь долго хлестал по щечкам их первого или второго лица, пока они, пища от боли, не покорялись ему, а потом не отваживались никому рассказывать.

Интересно, бил ли он также и Жан-Люка, гонял ли его пинками от стенки к стенке в его собственной спаленке? Никто, наверно, уже об этом не узнает.

Остальные мальчики были поистине непривлекательны, даже определенно безобразны. Но все они были друзьями Жан-Люка, который, стало быть, совершенно без моего участия держал культурный общественный центр, как вам это нравится.

У одного юноши волосы были сзади завязаны в хвост, перехваченный черной лентой, что в доме божием было совершенно неуместно; ну да, возможно, Вы думаете об этом иначе. И тут мне вспоминается еще один английский мальчик, неуклюжий и невысокий – тот заплетал волосы на затылке в этакий пучок, какие в моей юности женщины-социалистки накручивали на уши – прическа, именуемая *наушниками*.

Были ли у Жан-Люка интимные отношения с одним из этих типчиков, или с несколькими? Вы понимаете, о чем я. Возможно, с этим смуглым, подумал я, не из-за истинной страсти Жан-Люка, но оттого, что темнокожий индеец этого требовал, а Жан-Люк не мог ему отказать, дабы не поставить под угрозу дружбу между народами.

Но всё это было ужасно, и чем я такое заслужил? Красивый мальчик, которого я не мог заполучить – это было трагично, но в то же время и благородно, а дома во всякое время можно было вызвать в памяти его образ – для моносекса, ибо любой человек носил в себе собственный кинозал или спортсауну. Но страшненькому мальчику там нечего было ловить, и он был вполне способен испортить тебе день своими сочувствиями. Но я не должен был валить всё в кучу и ломать голову, как там и что. Это была просто кучка полоумных с совершенно превратными идеями или вовсе лишенных идей, за исключением, возможно, той, что Господа нашего Иисуса всегда привлекали тунеядствующие мальчики, которые отращивали волосы длиной в метр и заплетали их в косу, делали из них конские хвосты или пучки. Иисус был «истинный Бог», это я не оспариваю, но он был иудей, или католик, или закоренелый реформист, но в любом случае не свободомыслящий протестант: не желторотик, стало быть, и не примитив. Да, так я об этом думал.

Но избежать этого было невозможно, нигде и никогда. Всегда и повсюду ты вновь и вновь натыкался на это: что тебе не след переживать по поводу концлагерей, исправительных лагерей или лагерей смерти для христиан, ибо эти лагеря надобно воспринимать как «понятия исторические», ибо социализм был истинным христианством, вещал усыпительный голос *Flintenweib*[65], за заднем плане коего – ликование тюльпанов и шарманок.

Но я хотел настоящей любви, а не любви на бумаге. Что я имел в виду? Да просто: не истори-

65 Зд.: бой-баба *(нем.)*.

ческого понятия, ибо оно мне не требовалось, но истинной любви, той, что проистекает из сердца и ищет своего пути, любви, свободной от всякого предрассудка. Ну вот: на что мне сдались эти пять белых волосатых уродов с их кваканьем типа *Я Белокож, Что Луг Зеленый / В Ладони Черной У Тебя*, всяким таким пантеистическим пиздочёсом? Тогда как этот индеец с его прекрасным смуглым телом, гладкими черными волосами и глубокими темными глазами казался мне великолепным, несмотря на то, что не был белым, и стихи его я, кстати, тоже счел великолепными, хотя ничего из них не понял, не говоря уж о том, чтобы запомнить, ибо он был красив, он был жесток, и он был беспощаден: ну вот, это уже кое-что.

Увижу ли я его когда-нибудь вновь? Он не был ни хвостоплётом, ни борцом с империализмом, но хотел белого любовника, который был бы одновременно и его повелителем и никогда больше не отпустил бы его на свободу – из-за любви, чьей стрелы или ловчей сети никому не избежать. «Вот что надо бы тебе записать, Герард», подумал я, но это случилось позже.

Снова началось пение под орган. Как звали его, этого милого темного зверя? *Vital*, подумал я, и фамилию его я уже также предположил, и она была почти такой же: *Vitalis*, ибо он был сама жизнь. Поэтому прежде им давали только имена, ибо этого было достаточно.

И мое имя ему в свою очередь тоже понравилось бы, и фамилия. «Герард, – сказал бы он мне по-французски или по-английски, – какое дивное имя у тебя: трепещущее Г и потом звенящее серебром Е и далее Р, грохот водопада по камням, после чего А вновь открывает взору зелень мха,

ибо А – это зеленое. А потом, вслед за повторным Р, которое играет столь важную роль в твоей фамилии – строгое Д, словно бы завершающее твоё имя и превращающее его в загадку. *Oh Gerard, o Gèrard,* лечь рядом с тобою и чувствовать твое тело, о Мужественный Принц, Сильный Брат, будь навеки моим Повелителем!» Это *мужественный* он хорошо подметил, ибо кадастральное значение моего имени – *Храбрый Копьеносец*. И потом моя фамилия, означающая: *Мечта*, но также и *Долгий Путь*: путь, в котором я его поймаю и возьму с собой, не в оковах, а лишь с веревкой на запястье, ибо он не станет убегать, но захочет, чтобы все видели, как гордо он семенит передо мною, как знак, что я – его господин, а он – мой раб-любовник.

Теперь мне захотелось потревожить заветную часть моего тела, но тут это было невозможно. Поживем – увидим, подумал я, я не спускаю глаз с дома покойника. О черный принц, Раб, который втайне может быть также и моим Повелителем если ты никому не расскажешь но ты же этого не сделаешь?

Порой Смерть действительно приносила некое решение, после чего уже было ничего не поделать. Любил ли я Жан-Люка? Это был такой же вопрос, как жил ли я тогда уже там, или работал ли я тогда уже на том предприятии, которое затем стало называться по-другому, ибо тем временем его продали, по крайней мере я это от кого-то слыхал.

Любить кого-то – что это такое, и что бы это могло означать? Нелепая, романтическая ситуация, сопровождавшаяся беспечной невинностью мальчика, Жан-Люка то есть, наигранная ли, нет ли, типа я умею то и я умею это, но я делаю это

просто для удовольствия и потом отдаю кому-нибудь, кто захочет. Вообще говоря, его надо бы хорошенько отходить кожаным ремнем, но теперь было уже никак. Этот темнокожий мальчик, полукровка или индеец, он куда интереснее, ибо, во-первых, был пока жив, а во-вторых, в этой красивой темнокожей бестии обретались истинное желание и истинная страсть. Если тебе хотелось его бить, он находил это нормальным, но если ты спрашивал его хочешь ли меня ударить тоже было неплохо: лишь бы раздавались крики боли и мольбы о пощаде. Видите, это был истинный дух: если этот мальчик у тебя в друзьях, то во врагах ты уже не нуждался. И я бы ему, как бишь его, Виталу, да, Виталу значит, я бы пообещал ему перевести его текст о ближнем своем в жалобу всего мироздания, а потом держать для него Жан-Люка, чтобы он, Витал, смог погрузить своё любовное жало в его трусливую лисью нору. Нет, Боже помоги, это же теперь было совершенно невозможно, правда, ибо Жан-Люк, космический шахматный принц и строитель кроватей с балдахинами, был мертв! Но я знаю много других мальчиков для тебя, Витал, не отчаивайся, я знаю их, ибо в деревне повсюду мальчики страждут всякого такого настолько, что это уже даже чересчур. Все мальчики хотят извиваться под тобой от боли, Витал, ты ведь знаешь это?

Где же сидел теперь этот Витал? Я примерно знал, где он собирался усесться после своей мультирасовой смертной песни, но два толстых мужика закрывали его от моего взгляда. Если бы я заполучил Витала или он заполучил бы меня – но это было бы одно и то же, ибо и бог был только один, – то жизнь в конце концов вновь обрела

бы свой смысл и значение. Виталу понравилось бы вместе со мною обнажать и унижать мальчика, дергать его мужские волосенки и критически взвешивать на ладони его мальчишескую штуковину и говорить потом ты не настоящий мужик потому что у тебя хрен как у девчонки так что давай-ка быстренько ложись на животик не то пожалеешь.

Да, только этот Витал был настоящий наездник: неутомимый, и всегда ему было мало. Кто бы не захотел навсегда быть в неразрывной близости к нему?

Глава XVIII

Отпевание, описанное мною весьма тщательно, подходило к концу, но я продолжал рыскать кругами в поисках этого самого Витала, единственного привлекательного мальчика из сего культурного молодежного оркестра. Может, он и впрямь был из обедневших дворян, думал я. Разумеется, я думал еще и о социуме и взаимоуважении различных народов с различным цветом кожи, из чего могли бы произрастать мир и лучшее взаимопонимание. Но когда мальчик был красив, он обладал также и хорошим характером и хотел, познакомившись со мной, остаться при мне навсегда. Он был моего возраста, только чуть моложе, и он был выше политики.

Но, похоже, он спрятался и хотел удрать – для своей же безопасности, поскольку счел, что это будет сильнее его.

Но эти мои поиски Витала – в этом нет никакой настоящей истории, и у читателя или читательницы, себя уважающих, терпения на это не хватит, ибо он скажет а я хочу читать про любовь к тому же и автор сам говорит что он про любовь пишет. Так что ты этого мальчишку лапаешь, или мальчишка этот тебя лапает в лесу, в землянке или в

заброшенном каземате, разницы никакой, ведь я за это плачу деньги, а нет, так книжку назад отнесу. И ведь он же такой жестокий, Витал этот? Ведь ты же это писал? Я хочу знать, что он с этой жестокостью делает, или ты думал, ты один такой, кого от этого похоть разбирает? Мы тебе сочувствуем, но есть еще что-то в этом духе, если мы хотим товар за свои деньги.

Пока я тихонько ищу дальше этого Витала, расскажу Вам быстренько одну промежуточную историю, которая тоже случилась на самом деле, и также в трагические времена, когда наша маленькая страна была полностью оккупирована этими отважными немецкими угнетателями. Событие имело место летом 1943. Знали бы Вы меня тогда: мне только-только исполнилось девятнадцать. До сих пор это мне видится, словно вчера было.

Многими годами позже, после войны, я, благодаря публикациям славного профессора Бастианса[66], долгое время был подвержен *синдрому оккупации*. Когда я пересекал границу или просто должен был предъявлять документы на машину кому-нибудь в фуражке, мои руки тряслись так, что смотреть было страшно.

Тысячи людей – и одному Богу известно, сколько их было еще – которые во время войны пренебрегали огромными опасностями и порой, что называется, едва ноги унесли, но сумели отодвинуть от себя всё, что происходило с ними, и вновь прекрасно «функционировали» (словечко, изобретенное после войны метрессой или голубочком того Бастианса) – у всех у них были стран-

66 Jan Bastiaans (1917–1997) – врач-невропатолог, профессор психиатрии, автор диссертации «Психосоматические последствия оккупации и сопротивления».

ные жалобы на полночные кошмары, расстройства памяти, трясение членов, заикание и всякое такое, просто из-за этих публикаций; и у меня тоже. Стали возникать всякие конторы с соответствующей направленностью, укомплектованные координаторами и руководителями. Полагаю, что этот профессор Бастианс нынче уже преставился, в любом случае, от души на это надеюсь, только бы Господь его там на жертв войны не спустил.

Подобное наблюдалось также и у детей, которые вообще никакой войны не знали – такой силой воздействия обладал сей психиатрический человеколюб. Встречались и периферические явления, для чего были изобретены всякие профилактические терапии. И дети передавали это своим рожденным уже после войны родителям, за которыми по ночам гонялось гестапо, так что терапии эти были не халтура. Но до бастиансовых статей со мной всё было в порядке, и трясения и заикания появились только после публикаций сего ученого, который, стало быть, производил вивисекцию живых людей, до последнего пятака оплачивавшуюся из наших налогов.

Что же я делал тем летом 1943? Ничего особенного. С блеском сдал выпускной экзамен в Графической Академии, ибо, вообще говоря, хотел стать художником, но академия дала мне также письменное удостоверение о том, что я еще учусь и, следовательно, освобожден от принудительных работ в Германии. Благодаря моему юному возрасту и внешности и напускной глуповатой застенчивости я не так уж часто попадал под подозрение: просто школьник, так меня и воспринимали.

Проблем у меня было достаточно, что да, то да. Противоестественная моя сексуальная наклонность была тогда еще отнюдь не в моде и, кроме

того, я внушал себе, что ее нет, но делалось только хуже. Опыта в этой области у меня не было, и в поистине смертном страхе я панически отвергал всякое возможное сближение с мальчиками и мужчинами. Это была жизнь, исполненная страстных желаний, мастурбационных видений, нервного истощения, депрессии и отчаяния, и всё это с самым жизнерадостным лицом. На самоубийство я решался всего раз, так что это еще ничего, ибо я знаю людей, которые накладывали на себя руки шесть-семь раз и всё еще живут и здравствуют, один из них кончил инвалидной коляской, но это «терпенье и труд всё перетрут» есть слишком оптимистичная жизненная мудрость.

Я откладывал жизнь, и должен был наступить настоящий кризис, чтобы дело стронулось с места. После этого жизнь сделалась довольно интересной, но оставалась мелкомасштабной: по-настоящему существованием я не наслаждался никогда и никогда не чувствовал себя в жизни как дома. Для тогдашнего моего состояния я подыскал слово, которое подходило всегда и ко всему, и которое Вам уже встречалось прежде: трагическое. Ибо трагическое всегда хорошо. И писать трагический роман или трагический рассказ или трагическое письмо куда легче, нежели создать нечто забавное. Впрочем, и люди охотнее читают всякие горести, нежели все эти два притопа три прихлопа. Если писатель заводится на трагические темы, то от него зависит, сумеет ли он удержать верный тон. Печаль всегда прекрасна (вспомните дрожь при исполнении Св. Таинства), а прекрасных веселых книг не бывает. Даже безумие сексуального действа окружено выве-

тренными надгробными плитами под куполом вечной тьмы. А «милые» стишки, Вам они кажутся милыми? Ну, тогда придется Вам в который раз дать себя хорошенько осмотреть. По морде давай любому, кто намеревается тебя осчастливить, вот что я имею в виду. Человек, который думает помираю, а ему становится лучше, а потом он всё равно помирает. Это же так ведь? Или Вам кажется это слишком сложным?

Но что я собирался делать в начале этих длинных каникул в 1943 г.? По заданию амстердамского бывшего муниципального советника Франке (который в начале 1941 был смещен и уволен оккупационными властями) мне нужно было выехать во Фрисландию, чтобы передать одному молодому еврею-подпольщику деньги и продуктовые карточки. Я знал этого мальчика, Роберта Х., поскольку год учился с ним в одном классе. Родителей его увезли, и они не вернулись, он же и его сестра пережили войну. Удивительно то, что эта его сестра пряталась в доме Франке, а я этого не знал, хотя не раз приходил к ним. Люди были осмотрительны: чего было знать не обязательно, того и не знали, ибо чего человек не знал, того и не мог выдать под давлением. Возможно, к этой организации подпольного сопротивления (в народе именуемой также «нелегалка») я еще вернусь, а может, и нет: более чем полвека спустя я, если тут мне решать, не хотел бы больше никогда упоминать о ней, ибо хватит. Если под этим памятником лежит мертвец, которого я лично знал, тогда я соглашусь на возложение венков или церемониальный марш, при условии, что близким это будет приятно, но в остальном считаю, что с этим должно быть покончено.

От г-на Франке я получил только весьма краткие данные, которые нельзя было записывать. Я должен был поехать поездом в Энкхёйзен, переплыть пароходом во фрисландский городок Ставорен, а оттуда поездом или паровым трамваем – в большой город Херенвен. На главной улице мне надлежало спросить дом пастора Такого-то и Такого-то. У пастора я должен был получить точный адрес Роберта Х. Название деревни, где тот находился, г-н Франке, удивительное дело, мне сообщил, правда, не упоминая улицы, номера дома или имени его обитателя. Но в качестве некоего анекдота он поведал мне, что хозяин дома работал в муниципальной ассенизационной службе и ездил от дома к дому на лошади с телегой, забирая доверху наполненные сортирные бочки: гигиеническая система, всё еще довольно распространенная на селе. Без знания названия деревни и профессии того человека моя поездка была бы бесплодной, и мне пришлось бы возвращаться домой несолоно хлебавши. Как там было, я Вам позже расскажу.

Поезда в те времена ходили не так быстро, как сейчас, и паром этот из Северной Голландии во Фрисландию и vice versa ходил всего лишь дважды в сутки, возможно, также и из соображений экономии горючего.

Я выехал примерно в середине утра. Поезд был не полон. Приблизительно через три четверти часа он встал, не на станции, но где-то между двумя остановками. Сперва была тишина, потом заговорили. «Это из-за двигателя, или это из-за вагонов?» – произнес вопросительный женский голос.

Остановка длилась несколько минут. Я услышал, как позади меня открылась дверь, кто-то вошел, вновь звук с силой закрываемой двери, а потом приближающиеся шаги. Я подумал, что это кондуктор, который уже проходил по поезду, поглядывая, всё ли в порядке. Но в мой вагон вошел не железнодорожник, а – что довольно удивительно – одетый не в униформу молодой человек, и сел напротив меня у окна купе, где я был единственным пассажиром. Как мог простой смертный, не одетый в униформу, вот так запросто между двух станций влезть по железнодорожной насыпи и войти в поезд? Но тут же, при первом взгляде, вопрос мой сделался несущественным, хотя я продолжал беспокоиться о том, имеется ли у него карточка (действующий проездной билет), а если нет, то как я смогу оправдать это нарушение в глазах кондуктора.

Новый пассажир был молодой человек моего возраста. Ему явно пришлось пробежаться, ибо он всё еще тяжело дышал. Он выглядел как те, кого порой принято издевательски называть «гуляй деревня». Одежда его была определенно предназначена для свадьбы или какой-то иной важной встречи, и всё же никакой издевки или пренебрежительной мысли мне в голову не пришло. Да, Вам – конечно, Просвещеннейший Друг, бессовестный монстр, Вам-то да: Вы посягаете на всё, что прекрасно и невинно. Первым делом быстренько оглядеться, потом ущипнуть мальчика за что-нибудь, сперва исподтишка, а если мальчик начнет протестовать и остальные пассажиры захотят узнать, в чем дело, поведать, что он, мальчик то есть, Вас лапал, и вовсе не наоборот. Мальчик плачет от омерзения, а Вам это что баль-

зам на сердце. Призовут Вас однажды к ответу, и да воспослужит это утешением для всех тех, кто читает это или слышит.

Смотрите: мальчик на страх и совесть приоделся как можно приличнее, и я с Вас шкуру спущу, если Вы осмелитесь сказать или подумать по этому поводу что-нибудь гадкое. До сих пор я терпел и проглатывал почти всё, но это в прошлом.

Я, слава тебе Господи, не тряпичник, но знаю, что красиво, а что нет, иначе не писал бы об этом. Ибо мой попутчик был хорошо сложенный молодой человек, белокурый, но это почти само собой, и у него было благородное лицо, лучившееся безыскусным мужеством и честностью, то есть не рожа деятеля искусств или интеллектуала или телеказуара, но этих в те времена еще не существовало.

Светлые волосы его были недавно сильно подстрижены и сбриты на шее и далеко за ушами. Он мог бы быть молодым Немецким Солдатом или Военным Матросом, но тогда он был бы в униформе. Иметь безнадежную связь с одиноким мальчиком-солдатом или Матросом Морской державы беспощадного врага, это было нечто великое и возвышенное, и мысль об этом нередко посещала меня, но всякий раз я вновь прогонял ее. Об определенных действиях я при этом едва ли осмеливался помышлять, только о простой привязанности и доверии: супружество крови, осуществленное пред Алтарем Смерти. Позже это всё-таки пришло, и благодаря моей верности памяти этого мальчика я описал это в своем любовном романе «Язык любви» или «Милые мальчики», в одном из двух, тепло принятом публикой, но опротестованном дамами и господами-журналюгами, не жаловавшим друг друга, потому что сами они любви

получить не могли и ничего не знали, также и того, что язык любви – интернационален. Вы не должны верить тому, что написано в прогрессивном ежедневнике или таком же еженедельнике, ибо всё то, что там написано, во-первых, вранье, во-вторых, ложь, а в третьих – неправда. Эти люди еще никогда не читали ничего, что было бы почерпнуто из жизни. Тоже весьма антикатолики, даже против самого папы, не представляешь, как это возможно. Нет, не я, но эти тухлые писатели статеек, которых я достаточно часто предупреждал, а они продолжали гнуть свое.

Еще раз суммируя и тем самым исключая всякое неверное понимание, я подчеркиваю, что мальчик, севший в купе напротив меня, не был ни Немецким Солдатом, ни Немецким Военным Матросом из Военно-Морского флота, но обычным северголландским мальчиком из деревни.

Можно ли было взять такого мальчика в плен и всегда держать его при себе, так, чтобы он никогда уже не ушел прочь, и умереть вместе с ним, если бы по-другому было нельзя? Что я в точности имею в виду: мальчик из собственной страны, который сейчас сидел напротив меня, или такой же Немецкий Мальчик-солдат? Или Немецкий Военный Матрос? Возможно, лучше один из двух Немецких юных героев, чем мальчик из купе, но выбор всё равно был труден, ибо Матрос был чувствительнее и сентиментальнее и по маме скучал больше, чем Солдат. Был ли он также более жестоким? Откуда мне было знать, и проверить было негде. Так что, возможно, мальчик, сидевший напротив меня, был всё же менее затруднительным выбором. Но что стали бы мы делать, если бы навсегда сделались братишками? В невинности моей я

не мог думать ни о чем другом, нежели о дружеской борьбе и возможности потом отшлепать его по заднице, туго обтянутой штанами – насколько сильно, я еще не был уверен.

– Путешествуешь, а? – сказал мне мальчик.

– Да, каникулы, – торопливо ответил я. Мальчик был застенчив и сразу что-то еще сказать не решился. После этих слов он показался мне очень милым, прежде всего его голос, невзирая на северголландский акцент, или, возможно, как раз благодаря ему.

Но найти его милым не означало, что это к чему-то приведет. Ибо как бы это было? Как бы я осуществил, например, «постоянный контакт» с ним? Навещать его дома, а ему – заходить ко мне в большом городе А.? И всё это при том, что я-то знал бы, в чем умысел, а он нет. И что скажут или подумают его родители? И о чем тогда говорить? О спорте? О парусном спорте, например? Но я об этом ничего не знал. С моими родителями проблем бы не было, поскольку отец мой с лета 1941 скрывался то здесь, то там, а теперь в Гауде, думал я. По случайности его не было дома, когда гестапо пришло за ним ночью.

Моя мать, та – да, она была мягкая, любящая и не стала бы так сразу искать подвоха в дружбе, но вот мой Ученый Полубрат – тот допросил бы его и унизил: из-за его акцента и его неграмотности и потому, что тот, возможно, захотел бы стать моим дружком. И насчет его одежды он тоже стал бы отпускать колкости.

По одежде, кстати, не было ничего заметно. Его пиджачная пара была сшита по новейшей, скажем, пятилетней давности, моде, которая сразу же стала и последней, ибо уже несколько лет

купить одежду было негде. Костюм его был синего цвета с тонкими вертикальными кремово-белыми полосками. Это, вероятно, был единственный костюм, которым он обладал: остальной гардероб, наверно, состоял только из рабочей одежды. Из курточки он несколько вырос, ибо рукава были коротковаты, так что рукава его белой рубашки далеко высовывались из пиджачка. Манжеты рубашки были застегнуты грубыми запонками с фальшивой позолотой и стеклянной бусиной. Тяжелый, жесткий воротник рубашки тоже был несколько узок. На нем был опрятный, но уродливый темно-зеленый галстук, на коем был изображен силуэт хоккеиста вкупе с *клюшкой*. Галстук крепился на рубашке длинным зажимом из той же коробки, что и запонки, и обогащен бессмысленной, но шаловливой цепочкой.

Возможно, я слишком долго на него глядел, так что я опустил глаза. На нем были черные башмаки на низком каблуке, верхняя часть одного из них была залатана сверху, но они были с большой тщательностью начищены. Всё указывало на то, что это аккуратный мальчик, застенчивый уже в этом костюме, и еще более застенчивый, если ему где-то придется раздеться совсем, пока другой наблюдает. Но я вовсе не буду смотреть, если ты не хочешь, думал я, ты можешь оставаться в одежде.

Мальчик мог постепенно начать думать, что его общество мне наскучило, так долго я ничего не говорил и только глядел на него, конечно, осторожно, но он мог решить, что я презираю его. Что я должен был сказать?

– Куда едешь? Далеко? – спросил я, хотя меня это вовсе не касалось. Вечно во что-то вмешиваться и никогда не давать свободы другому, чтобы

самому о чем-то подумать и получить другое мнение или быть настолько глупым, чтобы исповедовать другую религию, ибо та была такая глупая, думали мы дома.

– Нет, я только до Схардуссепола, – разобрал я. – Еще две остановки. – Для ясности он поднял вверх два пальца. Да, стало быть, это короткая встреча. Мы больше не могли подружиться, и о том, чтобы записать имя и адрес друг друга, больше не могло быть и речи. Мне нужно запомнить название остановки, на которой он выйдет, заучить ее наизусть и потом сохранить в книжке. Если я буду раз в месяц ездить туда, в то место, в разное время, и всякий раз хорошенько смотреть по сторонам, то статистически в течение 3½ лет я найду его.

– Я дальше, к семье. Во Фрисландию, – сообщил я ему. – Там озера. Фрисландские озера называются. – Вот так человек узнает что-то. Поезд притормозил у практически безлюдной станции, потом снова разогнался.

– Хочется малость прошвырнуться, – сообщил мальчик. – Целен день дома сидеть, не по мне это. Не нравится мне такое.

– К друзьям едешь? – спросил я. Вопрос был невинный.

– О, да, – подтвердил он. – С друзьями, это суперклево. Ржем постоянно.

Незатейливый парень, подумал я, но всё-таки знал, чего хочет и чего не хочет. Человек здорово продвинулся, и это может послужить примером другим и мне самому.

Мы помолчали. Теперь поезд замедлил ход перед очередной остановкой, бывшей целью мальчика. Он встал.

– Приятной поездки, – сказал он и потом, всё еще мешкая в дверях, подтвердил свое заявление: – С друзьями всегда клево, а дома совсем ничего такого.

Я еще раз вгляделся из окна купе на уплывающий перрон, но он уже исчез.

Глава XIX

Поезд дум-дум катил себе вперед, из мрачных мест в печальный край. Мальчик ушел, и я думал, что это будет навсегда. Он и впрямь никогда больше не вернулся, хотя для этого у него было двадцать пять лет. От этой мысли пробирает дрожь, если задумаешься. Жив ли он еще? Но тогда он должен быть менее привлекательным, нежели тогда. Лысый, башку я имею в виду, и это самое малое, возможно даже со всякими мелкими шишками. О, эти золотые юношеские локоны! Чем больше что-то сверкает и блестит, тем быстрее становится пылью и пеплом, которые развеиваются по ветру. Ибо человек что *«вчерашнее былье, а нынче жухлое жнивье»*.

Так что высматривать из окна купе, виден ли он где-нибудь еще на перроне, смысла было мало, ибо ушел значит ушел.

И всё-таки я еще часто о нем думаю, ибо для меня он всегда остается юным. Плохого он на уме не держал, в этом я был уверен. И посыл у него был, правда ведь: позаботься о том, чтобы у тебя были друзья, тогда тебе всегда клево. Много друзей у меня никогда не бывало, это, конечно,

своеобразно. А клево бывало? Да, время от времени, очень кратко, между двумя манифестациями горя. Но всегда был здоров, что да, то да.

С глаз долой, но из сердца не вон, это и здесь справедливо. Я прикидывал, не пойти ли мне в поездной туалет, распутно потискать себя из-за него, но если застреваешь там надолго, а другой пассажир, которому очень-очень надо спереди или сзади, на это пожалуется, то просто явится кондуктор с особым ключом, откроет дверь, а там ты стоишь. Какое унижение! Тебя могут ссадить с поезда, и можешь считать, что тебе повезло, если поезд при этом стоит на месте.

Был ли у мальчика свой собственный запах? Да, ибо когда он встал, чтобы выходить, на меня пахнуло его юношеским по́том, таким здоровым и чистым, совсем мальчишеским, а также исполненным грусти.

Нет, я не пошел в поездной туалет, ибо это не было достойным местом для любовного деяния. Это полезное место, кто же будет отрицать, но любовь профанировать нельзя, что охотно делают многие артистические типчики, с коими я прежде вынужден был якшаться. Да, если так нужно и если нельзя иначе, тогда, конечно, другое дело.

Волею божественного провидения я опять сидел в купе один, и мне это оказалось на руку. Левой моей рукою (потому что я был слева и «ноша» моя тоже была слева) в левом кармане брюк я незаметно начал мять свою юношескую штуковину, безмолвно обращаясь к мальчику, и сумел прямо перед следующей остановкой достичь свершения чуда. О, этот милый мальчик-зверь, которому всегда с друзьями клево! Вспом-

нит ли он еще меня завтра или послезавтра? Вероятно, нет, и всё же я по-прежнему любил его, столь удивительно это было.

Об оставшемся отрезке пути в Северной Голландии, до прибытия и о самом прибытии в Энкхёйзен и о том, как я шел к пароходу, который отвез бы меня в городок Ставорен, я ничего не помню: очевидно, ничего особенного мне в глаза не бросилось.

На борту парохода после отплытия должны были проверить документы у всех пассажиров. Там, окруженный водой, человек уже не мог никуда убежать, и это была хорошая задумка. Я об этом знал, но контроля избежать никак не мог. Другой маршрут шел через всю страну, то есть через Зёйдерзе, сперва на восток, потом на север, что было сложнее и дороже, и тот, кто выбирал столь неэкономный маршрут, уже одним этим мог вызвать подозрения.

Об этом плавании я помню практически всё. Пассажирская каюта была внизу, посреди судна, и дневного света туда попадало мало. Конечно, там имелись оконца, но за ними были проходы, то есть смотреть прямо через иллюминаторы корпуса судна было невозможно. Все, кто заходил внутрь, притихали из-за полумрака, который не делался веселее благодаря двум жалким лампочкам на потолке, не более чем в 50 ватт.

Там, насколько я помню, не было столиков в окружении стульчиков, но исключительно деревянные скамейки вдоль стен. Никто не говорил и не смеялся в голос. У пассажиров имелись, и это было очевидно, только собственные страхи и заботы, и у меня они тоже были: обычный страх опасности и тяжесть на душе – из-за всего того,

что меня ожидало, если эта болезненная наклонность будет сопровождать мою дальнейшую жизнь. Кроме того, среди пассажиров я не видел ни одного мальчика или молодого человека, что было облегчением, но в то же время и недостатком, ибо алчные мечты, как бы ни были они болезненны, заставляли время течь быстрее.

Там было, как в могиле. Пищи не было, даже фальшивого лимонада с подсластителем, даже снятого молока или простокваши. Пассажиры опасливо подъедали то малое, что принесли с собой в старой наволочке или сумке из поддельного тростника.

Настоящим кораблем мертвых, как в саге, он не был, но одна поездка на нем, раз в сутки вместо раза в несколько часов, наверняка доводила какого-нибудь пассажира до истерики или обеспечивала ему панический припадок.

Не будет ли лучше наверху, на палубе? Когда судно отчалило, я пошел туда посмотреть. Там тоже были скамейки для пассажиров. Я уселся и залюбовался видом и сверканием солнца на спокойной воде. Вода эта не была больше настоящим морем, и уж тем более судно не было настоящим кругосветным океанским кораблем. Всё казалось мелким и доморощенным, словно для детей на поддельном пляже в парке с аттракционами, и таковой же была моя жизнь: детский цирк с двумя лошадками-пони и ручной ламой, плюс скверный детский клоун, которому ни разу не бывало стыдно, ибо стыдно было *мне*. И всё же существовала постоянная опасность того, что дело всерьез примет горький оборот.

На палубе почти не было пассажиров, возможно, из-за легкого бриза, который мне не мешал,

поскольку это уже ничего не меняло, но для большинства людей он был неприятен, потому что вонь – это мило, но ветер о жуть какая.

Нет, из моей жизни ничего не получалось. Эта поездка, возможно, закончится благополучно, думал я, но что еще? Я никогда не осмеливался ни спрашивать у кого-либо о том, что сводило меня с ума, ни отыскивать что-либо в читальном зале, ибо что я должен был бы сказать, если какой-нибудь автодидакт за тридцать спросит меня что ты ищешь мальчик, возможно, я могу найти для тебя. Да, да. Но книга о таком вот ужасном, таких же совсем не существовало?

На палубе работали два человека из команды, взрослый и юноша. Одни части палубы они отдраивали швабрами, другие, уже отмытые, заново пропитывали смолой. Этим был занят самый молодой из них, юноша, он был далеко от меня, и из-за расстояния я не мог вынести суждение о нем. Я не сразу пошел в его направлении, но несколько прогулялся вокруг, этак рассеянно. Не слишком далеко от юноши, но и не слишком подозрительно близко, я уселся на другую скамейку и раскрыл учебник химии, который получил от г-на Франке для передачи Роберту Х., ну, вы знаете, тому, что прежде был моим одноклассником, и которому теперь приходилось прятаться в доме в затерянной фрисландской деревушке, куда я держал путь.

Этот Роберт Х. был юноша, полностью погруженный и физику и технику, химию тоже, то есть как там всё было устроено с точки зрения химии. Он все время совершал открытия или работал над ними, хотя его, разумеется, принимали за фантазера. Между тем не стоит забывать, что ему пришлось прервать обучение в школе, и теперь

он сидел в каморке и не смел ни покидать дома, в котором скрывался, ни подходить к окну или открывать дверь, если постучат, ибо это могло означать его гибель.

Война достигла поворотной точки, и инициатива теперь была не в руках Германии, но принадлежала Союзникам: Германия выиграть войну более не могла.

Но то, что этой страшной шутке, войне, предстояло длиться еще почти два года, и что мне потом в Нашей Индии, за морями, стало быть, предстояло сражаться под стягом Ее Величества – сперва лейтенантом, а потом, уже в походе, даже быть повышенным до капитана, благодаря нехватке способных офицеров, – кто мог этого ожидать? Война – гнусное действо, которое накрывает поля и города смертной пеленой неутолимой скорби, пусть оно, конечно, и омолаживает народы, что есть факт, хотя порой это брутально отрицается.

Но что нам толку от политики, да еще и в книге? Я против политики, ибо она приводит к власти народ. Тот самый народ, что попирает, разрушает и предает огню искусство, песнопения, церкви, святыни Марии, библиотеки и детские дома, если понадобится – с людьми и животными в них, какая разница. Можно ли в нынешнее время еще спокойно выпустить погулять собаку? Спросите у родителей, которые всю жизнь работали, тяжко трудились, можно сказать, для своей семьи и своих детей, и что же делают дети? Они попросту срывают со стены крест (=распятие), чтобы растоптать его, или разбивают статую нашей Предвечной матери (=Благословенной Девы Марии) на куски и играют на улице в футбол головой Младенца, просто потому, что родители,

или дед и бабка, не слишком быстро расстаются с последними грошами. И потом, все эти новые типы, которые посягают на наших дочерей, да, даже на сыночков наших, навсегда уродуя их душу! Это же вопиет к небесам? Должен ли тот, кто не платит ни гроша налогов – но может бесплатно жрать от пуза на наши деньги, воровать в магазинах и убивать и резать людей на улицах, – иметь еще и избирательное право? Го́лоса оппонента более не слышно.

Но я, стало быть, сидел на скамейке на палубе того корабля, который не был кругосветным кораблем, и чувствовал себя подавленным и встревоженным, ибо никто не знал, что еще может случиться.

Из своего багажа я, кроме денег, продуктовых карточек, проездного билета и моих документов, взял наверх еще ту книгу по химии, которую должен был передать Роберту Х. от г-на Франке. Эта книга могла разогнать мою потенциальную скуку, ибо в ней вполне могло быть что-то интересное; и всякий мог всегда чему-то научиться. И действительно, книга весьма пригодилась, ибо теперь я мог вблизи тайком поглядывать на мальчика, который вместе со стариком за тридцать работал на палубе, и всё же притворяться, что я целиком ушел в книгу, и в конце концов собрать сведения. Да, а Вам бы только смеяться, ибо вот он какой умник, писатель-то, экий шаловливый плут, везде-то он видит веселую сторону. Но по сути дела ничего смешного в этом нет, ни тогда не было и сейчас нет, ибо я еще ничего забавного не переживал. Это внешность, а внешность обманчива.

Юноша, который с озабоченным выражением прилежно трудился и мало внимания обращал на то, что творилось вокруг, был, вероятно, на год-два моложе меня. Это был совершенно другой юноша, нежели тот, несколькими часами ранее, в поезде. От лукавого весельчака в безупречной одежде я пришел в возбуждение, даже можно сказать, влюбился, но что означало это слово? Желание, да, это было так, и нежность, это тоже, с шальными мечтами. Но с этим одиноким юнгой (ибо он был очень одинок) вышло по-другому. Я почти не мог отвести от него взгляда, что было неосторожно с моей стороны, но временами я просто забывал об окружающем. Он, этот совершенно новый юноша, был прямой противоположностью того жизнерадостного мальчика в поезде, который всегда хотел, чтобы было клево, и считал прекрасным, если другие вокруг него развлекались точно так же, как и он. Поистине восхитительный мальчик, тот, что из поезда, и вовсе не плохой выбор, если можешь назвать его своим другом. И всё же чего-то не хватало, как это сказать, у него, что называется, не было тени, и не было в нем тайны или невысказанной ностальгии по тому, чего никогда не было.

«Тень», «тайна», «ностальгия», ну да, опять завелся, скажете Вы, ибо это всё лишь слова; я считаю, что этот человек, писатель, время от времени сам себе осложняет жизнь. Но на это я, писатель как таковой, отвечу: «Разве это не всего лишь моя обязанность? Я имею в виду мою обязанность написать великую, мощную книгу о свете, но и о тени? И о любви, или это не серьезное дело?»

Да, этот юноша, которого я наблюдал прямо перед собой, за работой на палубе, был не такой, как мальчик в поезде, и этого «не такого» я узнал: он был как я. Не то чтобы точно так же желал тела другого мальчика, хотя это желание могло рано или поздно прийти. Нет, всё было не так просто. Он не был счастлив сейчас и никогда не был прежде, и он знал, что счастлив не будет никогда. Я даже счел, что он и походил на меня, хотя он был миловидный, а я нет. Понравлюсь ли я ему, если скажу что-нибудь дружелюбное? При этой мысли меня пробрала дрожь.

По всей вероятности, Вы жаждете от меня описания его внешности, и я хочу дать его Вам, ибо это есть мой долг как писателя, хотя я и окажусь в этом совсем не на высоте.

Первое, что я хочу упомянуть, были его ступни, ибо они были обнажены, то есть он был без носочков и без обуви. Он ходил и работал босиком, к чему я потом вернусь.

У него было благородное, худощавое лицо, которое я для удобства назову «вылепленным», благодаря чему смогу избежать всех этих слюней. В нем не было ничего вызывающего или нечистого, хотя многие, почти всегда дурные люди, находили нечто возбуждающее, или очень «лакомое», как они это именуют. Не знаю, в какие руки попадет моя книга: ею могут злоупотребить, ибо предотвратить этого я не могу.

Эти его обнаженные ступни, которыми ему приходилось ступать по палубе, растрогали меня. О, если бы взять в руки одну эту ножку! Я не могу писать об этом, владея собой, спокойно, по крайней мере, в этот момент.

У него, юноши, были неподатливые темно-русые волосы, несколько спутанные, с прядью на лбу, чего он сам, вероятно, не замечал.

На нем были длинные черные штаны из потускневшего плиса, которые, вероятно, когда-то были выходными. Обшлага брючин были оторваны, так что кое-где они разлохматились, что могло бы свидетельствовать об его изгойстве, но в действительности подтверждало, что он был принц. Сверху, на его голое – надо полагать – тело была надета грубая рабочая рубаха цвета хаки, изношенная, с заплатами несколько отличного цвета.

Ступни его время от времени попадали во вредную жидкость, которой он натирал палубу – думается мне, карболинеум. И ножки эти были в нескольких местах покрыты шрамами, кое-где уже с болячками, но некоторые еще с открытыми, пламенеющими полосками. Эта жидкость ни к чему хорошему не приведет, подумал я, но вмешиваться не имел права, как бы ни было грустно это зрелище.

Ступни у него были сильные, крепкие, с несколько искривленными пальцами, вероятно, из-за того, что он слишком долго носил туфли, которые сделались ему малы, по бедности, ибо он был очень беден. Но они околдовали меня, эти покрытые шрамами ступни, которым угрожала злокозненная жидкость, и самым восхитительным я нашел косточки на его лодыжках, кожа на которых пламенела из-за резкого ветра.

Разумеется, я оставался начеку и никогда не кидал на него слишком длительных взглядов. То и дело я, что называется, углублялся в ученую книгу и бормотал, неслышно, но видимо, ту или иную химическую формулу, причем опускал глаза

или задумчиво поднимал очи горе. И, разумеется, остерегался грязного старика за тридцать, который был его начальником. Или чем-то бóльшим? Это был уродливый мужик, но даже и уродливый мужик может лелеять определенные помыслы. Между ними не было ни малейшего внешнего сходства, так что это не мог быть его отец, счел я. Может быть, его приемный отец, который скверно обращался с ним и пользовался им, ибо такое действительно случалось не только в сказках. Смерть ему, этому мужику, просто выкинуть его за борт, но как можно решить это без проблем?

Странно было, что этот человек, ровно как я, довольно часто поглядывал на юношу. У него была тощая кислая башка с уже редеющими бесцветными волосами и поистине сверлящие глаза. Он был дурной, это мог видеть каждый, и он ненавидел этого юношу, тогда как ему полагалось молиться на него. Примешивались ли тут еще какие-либо чувства? Вы несомненно понимаете, что я имею в виду. Может быть, и да, но вероятно, нет, ибо тогда он должен был следить за тем, чтобы был еще кто-то другой с теми же интересами. Нет, мне он ни единым взглядом не уделил внимания. Но юноша один раз взглянул на меня, просто по случайности, а я сделал вид, что смотрю не на него, а вдаль. Нет, мальчик не имел ко мне никакого интереса, ибо я был из другого мира: он явно принимал меня за студентишку, который, таким образом, бил баклуши, из дому всегда с деньгами, и который мог делать всё, что ему заблагорассудится.

Один раз он выпрямился в полный рост, спиной ко мне, и я отчетливо увидел область между его изношенным брючным ремнем и задней частью

его колен. Да, эти брюки были не только коротки и потому их удлинили, распоров обшлага, но сделались также тесны, так что его юношеские холмики обрисовывались во всей своей красоте и невинности. Я не смог представить его обнаженным, словно не осмеливался, да это было и не нужно: держать его при себе всегда, в одежде и иметь возможность спать с ним в одной кроватке или хотя бы в одной комнатке, о большем я мечтать не осмеливался, но даже и этого было нельзя. Но чего хотела от меня эта жизнь? Время покажет; а может быть, и нет.

Да, всё всегда складывается иначе, нежели человек надеется или предполагает. Я мог смотреть на юношу и думать при этом что угодно, но от этого ничего не менялось. В лучшем случае одна мысль ведет к другой, и это всё, что происходит. Однако моя похоть (=половое влечение) вновь взметнулась до страстных высот, но тайный трюк с карманным осеменением я теперь провернуть не мог: этот грязный старик за тридцать, который якобы не обращал на меня внимания, мог бы увидеть, ибо фигура моя находилась полностью в его поле зрения, и в прежней жизни он был бесперой хищной птицей, это уж точно. Бил ли он порой юношу? Ах ты господи, об этом я еще совсем не думал, но это запросто мог быть тот самый случай, ибо от мерзавца всего можно было ожидать. Захотел бы юноша бить меня? Но при чем тут сейчас это? Проблемы накапливались, и в целом лучше было бы вообще не жить.

Но мысли мои прервало сообщение, внезапно прозвучавшее из корабельного рупора. В те времена еще не существовало электрических голосов, то есть звук, издаваемый говорящим, должен был своими силами перемещаться по металлическим

трубкам в большой полый гриб на крыше, каковой гриб был согнут с одной стороны, всемирная труба, стало быть, для предупреждений и приказов. Наша маленькая, сколь беспомощная, столь и невинная страна жила под немецким гнетом, который, согласно нынешним газетам и современным средствам массовой информации, был наижесточайшей и ужаснейшей несправедливостью во всей мировой истории. О новом терроре, который наступит потом, еще ни у кого не было ни малейшего подозрения, хотя его, конечно, с нетерпением ждали: массовые нагромождения бетонных гробов, в которых телеящик соседа не обязательно видеть, но слышать его день и ночь, ибо если выключить его, это плохо скажется на приборе. Народ у власти, слово говорит само за себя, и лучше не становится, только хуже, также и из-за вероотступничества. Если Бога больше нет, нет и ближнего твоего. То есть я хочу сказать, что электрический голос заставил замолчать человеческое сердце: наше существование превратилось в черепаший шаг лифтом вниз и, возможно, также наверх, если он еще на это способен, зассанный ли, нет ли, нужно только суметь к нему привыкнуть.

Всем пассажирам надлежало пройти в каюту, если они еще не находились в ней – так прозвучало послание из железной трубы. Не Последняя Труба, стало быть, ибо для большинства пассажиров речь шла о формальности: показать бумаги, которые были в порядке. Прощай тогда, милый мальчик, не знаю, увижу ли тебя вновь, но продолжаю думать о тебе. А ты обо мне?

Внешне я оставался очень спокойным, ибо причин для паники не было. Определенный штемпель или печать на определенном документе

были фальшивыми, но подделаны так хорошо, что при повседневном контроле это распознать было невозможно, только в лаборатории.

Настоящей же проблемой были продуктовые карточки, которые я вез. Они были настоящими, но похищенными из бюро продовольственных карточек в Амстердаме, директором которого был в то время поэт и адвокат Маттеус Вердасдонк[67]. Как он осуществил это расхищение на потребу подпольного сопротивления, он после войны мне никогда не рассказывал. Я узнал это от других после его смерти. Тут я с почтением вспоминаю его.

Обладание продовольственными карточками означало для Роберта Х. то, что для него могли покупать в магазине хлеб, масло, мясо, сахар и тому подобное, пусть даже и очень немного. (То, что немецкие оккупационные власти оставили для голландца, то есть не отправили в Германию, была еженедельная норма сыра, мяса и масла, рассчитанная примерно на полтора-два дня; что касалось хлеба – чуть больше, скажем, где-то половина истинной потребности). Так что было важно, чтобы эти карточки попали к Роберту Х. Отправлять их почтой было не совсем безопасно, ибо адресат подвергался риску.

Если меня сейчас, сию минуту обыскали бы, то карточки, будь они у меня в одежде, были бы точно обнаружены. Поэтому я дома обернул книгу по физике в прочную оберточную бумагу, как тогда было в ходу со школьными учебниками; да, порой это было даже обязательно, если они являлись собственностью школы. И под эту бумагу, поверх картонной обложки, я положил карточки.

---

67 Mattheus Verdaasdonk (1918–1966).

Отвороты бумаги я в некоторых местах подклеил, но не слишком основательно. Взявший в руки эту книгу карточек бы не ощутил, а в саму книгу можно было спокойно заглянуть, ибо получалось, что мне она была необходима для учебы. И на обложке ханжески красовалось мое имя, адрес и адрес Графической академии. Риск, с которым нужно было считаться, оставался, но эту мысль я, насколько можно, в чувства не впускал. Довести самого себя до помешательства было достаточно легко, но это ничего бы не дало.

Но как бы ни был я испуган и каким храбрым ни пытался бы казаться, в мыслях я воображал себя сходящим с корабля в наручниках по прибытии в гавань, и даже под взглядом юноши, Вы знаете, кого я имею в виду, то есть не того грязного старика за тридцать, который беспрестанно скашивал свою птичью башку в сторону юноши, бесстыдно даже, но самого юноши, который босиком ходил по палубе. Что он подумает, глядя на мое положение? Ощутит ли он сочувствие, или скажет себе ну вот видите меня не удивляет что он какую штуку выкинул.

Все пассажиры сидели теперь в каюте на скамейках и ждали. Я больше не мог ничего изменить ни в лучшую, ни в худшую сторону. Денежная сумма, имевшаяся при мне, была значительной, небывало крупной для простого путешественника, едущего навестить семью, но я мог сказать, что собираюсь четырнадцать дней жить в гостинице и нанял парусную лодку, чтобы ходить на ней по озерам.

Почему я продолжал постоянно думать о том босоногом юноше с палубы? Он же ведь не играл больше никакой роли?

На одной двери каюты было написано: *Входа Нет* – возможно, она вела в рубку или помещения для команды. Но теперь она открылась, и в каюту вошел солдат, или по крайней мере некто в немецкой униформе, за которым следовал человек в гражданском, с очкастой конторской рожей; он остановился в дверях и стал испытывающе всех оглядывать. Что я видел? Нет, я не ошибался, ибо глаза у меня были в порядке: на лацкане пиджака у него был вольфсангель, металлический знак, под который лучше всего подходит описание полусвастики, и эта половина стилизована под готику и носят ее вертикально. (Это была эмблема Нидерландских национал-социалистов, которую, однако, надевали далеко не все. Тот, кто носил ее, был, что касается веры движения, истинно верующим). Мне это показалось странным, ибо этот человек был также «тайный» из полиции: их всегда узнавали по слишком новым или только что из чистки бежевым дождевикам и слишком новым туфлям: всегда светло-коричневым, до блеска начищенным полуботинкам. Почему этот солдат не мог проверить документы один? Был ли контроль на этот раз особенно усиленным, потому что предполагалось, что они идут по какому-то следу? Возможно, этот «тайный» предатель оглядывал всех затем, чтобы подметить, кто из пассажиров нервничал. Ну, нервничать-то я, конечно, нервничал, но у меня было довольно самообладания, чтобы оставаться сидеть спокойно и продолжать начатое на палубе штудирование научной книги.

Но страх, в человеке, но также и во всей природе, взывает к размножению, покуда еще не поздно, и мысли мои всякий раз возвращались к голоногому мальчику на палубе надо мной, кото-

рый, несомненно, продолжал свою работу. Каким удивительным и вздорным казалось всё, ибо что было мне с этих мыслей? Я больше не мог подойти к мальчику и сказать: «Быстро, спрячь меня, о принц, я буду вечно служить тебе». Ибо я больше не мог покинуть каюту. Это была, прямо скажем, напряженная ситуация.

Я всегда, с самой ранней юности, мечтал мыслить магически, под чем я подразумеваю, что нередко видел связь между вещами и событиями, не имея к тому никакого доказательства или возможности указать ощутимую причину.

В современном обществе, ибо так оно называется и, следовательно, в моем родительском доме, для всех действовал Разум: мечты были обманом, а чувства, за исключением тех, что по запросу и в пользу классовой борьбы, были отвратительной вещью. Из-за этого у меня появились комплексы, но всё же я в итоге смог удачно с ними справиться. Моя собственная картина мира состояла из злых или услужливых зверей, мудрых птиц и потаенных, но хлопотливых водяных королей. И Сатану, хотя я не знал его имени, я не ненавидел, потому что он вечно сидел с той же проблемой, что и я: искал примирения с Богом, но был слишком горд, чтобы самому сделать честное предложение. Волшебство и магия, птицегадание и умение истолковать форму облаков, по сути дела, всё вращалось вокруг этого. Но говорить об этом с кем бы то ни было невозможно.

Всё возвращалось; всё, что происходило, уже случалось прежде, и всё было повторением, пусть даже с современными костюмами и таковыми же декорациями.

Но вот что: выйти я больше никуда не мог и, следовательно, должен был оставаться там, где находился. Чрезвычайное самообладание было в высшей степени целесообразно, и я не должен был стоять наготове со всеми документами в дрожащей руке, прежде чем меня о чем-то спросят.

Странно было то, что мысли мои то и дело возвращались к босоногому юноше, который, несомненно, как ни в чем ни бывало продолжал свой смиренный труд на палубе над моей головой. Но еще более странным было то, что я был уверен, что каким-то образом он мне знаком. Я уже прежде видел его, но где и как? На этом судне я был впервые, а он, юноша, явно вырос вблизи одного из речных вокзалов паромного сообщения – территория, где я тем более никогда не бывал.

Может быть, я опять готовил сказку собственного производства, с весьма высокими помыслами вроде всегда иметь возможность быть рядом с ним и умереть с ним вместе, он – как принц, я – как раб его, которому позволено спать на земле рядом с его постелькой.

Ах, увижу ли я его вновь? Он может свалиться за борт так, что никто не заметит, и потом, после бессмысленной и ужасной борьбы, возможно, в течение многих часов, навсегда опустится в глубины просторных вод, таких ласковых, какими эти воды могут показаться пассажиру. И, возможно, его мертвое тело никогда не будет найдено.

Я всегда, всю жизнь мою, даже будучи молодым, думал о подобных вещах, из-за чего некоторые считали меня «странным». Но нечто, являющееся правдой, печальной или нет, это же не «странно»? Похоже, что всё больше людей просто

не знают, что вообще может случиться на свете. Сожалеть о чем-то, да, это разумно, но находить странным – это ни в какие рамки.

Что такое «странно»? Юноша ведь мог утонуть, ибо разве не часто такое случается? А я? Я мог быть арестован и угодить в концентрационный лагерь, с ограниченным шансом на выживание. Я не был в безопасности, но и юноша не был, со своими босыми-то ножками. Мог ли он скорее поскользнуться на палубе, чем если бы был в ботиночках? Может, и так, но как знать?

Предположительно-немецкий военный готовился к проверке удостоверений личности пассажиров, одного за другим. Мог ли он определять их подлинность? Я пока что считал его немцем, но он мог с тем же успехом оказаться голландцем на военной службе у немцев, ибо такие существовали, даже добровольцы, и было их немало.

Солдат, немец или нет, теперь спрашивал документы у первого пассажира. Я сидел примерно в середине очереди, а разговор шел на пониженных тонах, так что я ничего не мог разобрать. Был ли этот солдат службистом? Издалека он казался усталым, но усталость может сделать человека раздражительным.

По мере того, как он приближался, я всё больше улавливал, о чем говорилось. И да, конечно: внезапно я четко расслышал, что солдат говорил по-немецки, и, стало быть, не был голландцем. Было ли это преимуществом, с уверенностью сказать было нельзя, но я подумал, что да.

Когда он подошел поближе, я попытался оценить его по внешности. На вид я дал ему около сорока. У него была обычная фигура и обычное лицо. Плечи его чуть выдавались вперед, словно

на нем висел осязаемый груз гибельной борьбы между народами. У меня возникла непатриотическая мысль, что он беспокоился о доме, то есть о семье, которую ему пришлось оставить, когда он отправился на войну. Есть ли у него дети? Но во что я лезу? Это же совершенно не относится к делу? Нет, конечно, и всё же у меня были эти мысли, несмотря на всю их странность. Возможно, я еще вернусь к ним, если до того будет.

Мои воспоминания о войне и обо всем том горе, которое она причинила миру и прежде всего людям – невеселого рода. Боевые воздушные сцены по телевизору мне, напротив, кажутся прекрасными, потому что мальчики, которые залезают в аппараты, нередко неслыханно красивы, их лица и тела. И видишь, как падают бомбы, но сам под ними не сидишь. Смотреть на это весьма поучительно: также и на то, как эти воздухомальчики, вернувшись невредимыми из военного полета, благодарно обнимаются. Нет, тут никакое сердце не устоит: я всегда при этом плакал. Красота есть во всем, нужно только захотеть ее увидеть. А также их крепкие ягодички. Говорят, что эти юные герои, нажимая кнопку, дабы заставить со свистом промчаться вниз свой печальный груз, так же случайно кое-что сбрасывают и в свои тугие штанишки, из-за напряжения, но это чистой воды клевета маргинальных подстрекателей, желающих подорвать наше народное сопротивление. Не слушайте же их! Вы знаете, откуда денежки поступают для печати их чуждых народу памфлетиков? Из Дополнительной Кассы Взаимопомощи, иными словами, от налогоплательщиков, то есть от Вас и меня. Это же не мелочи, как Вы полагаете?

Немецкий военный не был службистом. Он проглядывал предоставляемые ему документы, порой что-то спрашивал, но, казалось, едва прислушивался к ответам. Его заботило что-то другое, я был уверен в этом. Голландский предатель родины с его конторской рожей и вольфсангелем на лацкане вышел на пару шагов из дверей каюты, по-прежнему рыская взглядом. Он хотел что-то обнаружить, но немец охотнее всего покончил бы со всем этим как можно скорее, чтобы пойти выпить или написать письмо домой; или и то и другое.

Что касается меня, пускай он живет, немец этот, но голландскому предателю родины – смерть, никакого, стало быть, прощения.

Теперь немец стоял рядом со мной, и была моя очередь. Он задумчиво поглядел на меня, прежде чем сказать “Ausweis, bitte”, и продолжал пристально глядеть, забирая бумаги. Показался ли я ему подозрительным? Но я ведь ничем не отличался от остальных? Он просмотрел данные и сравнил мое лицо с фотографией в паспорте. “Wie alt sind Sie?”– спросил он. Странный вопрос, ведь моя дата рождения была указана на той же странице, что и фотография. Я ответил правду, что мне девятнадцать и что в декабре исполнится двадцать. Вопрос был важный, потому что мужчины старше восемнадцати, при условии, что они были здоровы, принудительно отправлялись на работы в Германию. Школьники и лица, чья профессия была жизненно важной для общества, учитывались и получали освобождение, но школьник – это не профессия, так что это нигде не было упомянуто.

“Was machen Sie?” – спросил он, тогда как, судя по движению его руки, он был готов отдать мне удостоверение личности. И тогда я вытащил документ, который Графическая Академия отпечатала для всех своих студентов, в котором значилось мое имя. Печатный текст гласил, что податель сего был одним из ее студентов. Выполнен он был изящно, с цветной извилистой рамкой, которая делала документ немного похожим на биржевую акцию. Тест был по-нидерландски, но составлен так, что и немец мог его разобрать. Я представил документ и растолковал его. Немец одобрительно кивнул, еще до того, как полностью прочел его: было бы только показано, вот о чем речь. Голландский предатель, казалось, заинтересовался и мог осложнить дело, но он продолжал только раздраженно смотреть.

– Вы хорошо говорите по-немецки, – сказал немец на своем языке.

– Вы находите? – польщенно ответил я. – Я хорошо выучил его, это верно. Но с произношением всё еще трудности.

Мне нужно было сказать что-то в этом роде, хотя произношение никогда не казалось мне трудным.

– Произношение не везде одинаковое, – оправдывающе сказал немец. И, как я подумал, для того, чтобы разговор не сделался слишком приятным и слишком человечным, он коротким, решительным жестом отдал мне мои бумаги. – Счастливого пути, – пробормотал он, уже устремляя взгляд на следующего пассажира. – Для вас это в любом случае не война.

Эти слова удивили меня, и только гораздо позже я понял, что он не имел в виду ничего другого и не мог иметь в виду, кроме того, что сказал,

и то, что он думал так искренне. Что-то с ним сталось? Очень может быть, что не осталось никого, кто знал бы это или мог бы знать.

Хотите стихотворение? Нет, не мое, но Йоганна фон Айхендорффа[68], который жил давным-давно, но уже тогда сочинял стихи:

In der Fremde

Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
Da kommen die Wolken her,
Aber Vater und Mutter sind lange tot,
Es kennt mich dort keiner mehr.

Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit,
Da ruhe ich auch, und über mir
Rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
Und keiner kennt mich mehr hier[69]

---

68 Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff (1788–1857) – немецкий поэт и прозаик эпохи романтизма.

69 **На чужбине**

С родной стороны идут облака,
Свет алых молний храня,
Но мать и отец в могилах давно,
И там позабыли меня.

Дождусь ли той покойной поры,
Того желанного дня,
Когда надо мной зашумит листва,
И все позабудут меня. *(пер. Р. Шустеровича).*

Глава XXI

Вот так: мы прибыли в некогда весьма влиятельный портовый город Ставорен, и я вместе с другими пассажирами сошел на берег. Разумеется, я еще раз быстро оглядел палубу, но босоногого юноши, который, невзирая на свою красоту, был беден и вел жалкое существование, было нигде не видно. Не случилось ли с ним чего-нибудь серьезного? Спросить об этом я ни у кого не мог: если бы с ним что-то случилось, вину свалили бы на меня, а если ничего не случилось – посмотрели бы, как на идиота, то есть ненормального.

Остановка парового трамвая была недалеко, и у меня оказалось более чем достаточно времени, чтобы войти в него и занять удобное место у окна.

Но видение юноши на палубе продолжало преследовать меня. Важный вопрос: как его звали. Если знаешь чье-то имя, можно тайком произносить его вслух. А если знаешь фамилию (=родовое имя), то можно также подсчитать его число, хотя это было гораздо сложнее. О том, что у всякого человека имеется животное-покровитель, я тогда еще не знал, ибо это открылось мне гораздо позже, благодаря вере, а также голосам, то есть не благодаря оккультной фигне, сдалась она мне.

Трамвай тронулся, и из-за великолепных видов местности, которую он пересекал, я пришел в почти жизнерадостное настроение, ибо теперь уже мало что могло пойти наперекосяк. У кондуктора я, как истинный страдалец нервами, тотчас же поинтересовался, где в Херенвене выходить, если мне нужна определенная улица. Указания его меня успокоили: улицу я, «можно сказать», пропустить не мог.

238 Всякий читатель знает, что человек, избежав опасности или тяжкого горя, пребывает в состоянии эйфории, пусть даже не продолжительном. Пейзаж, проплывающий мимо меня – огромные луга, поля, хутора, господские дома и простые жилища рабочих – был определенно впечатляющим и порой живописным, но неузнаваемым и непостижимым, и это меня беспокоило. Кто жил в этом доме, и дальше, вон в том, и сколько счастливых людей находилось за теми дверьми и окнами следующего дома? То, что там и тут, в одном или двух из этих домов, мог жить точно такой же мальчуган, как я, с такими же желаниями в отношении меня, как я – в отношении него, я считал невозможным, хотя это не было исключено. Но было ли или не было это так, я хочу сказать, очень возможно, но, вероятно, невозможно, да, от таких мыслей толку мало. Мне показалось, что лучше всего предположить, что в каждом доме, проплывавшем мимо, жил по крайней мере один человек, который был очень несчастлив, ибо таким образом я никого не обделял, и это был также человечный взгляд.

Послушайте, о читатели и читательницы! Признаюсь честно, что я уже в то время хотел стать писателем. Или, вернее, живописцем, ибо тогда я мог стать всемирно известным, посколь-

ку язык кисти интернационален. Порой полотно могли похитить или сильно повредить, оно могло исчезнуть бесследно, но перед тем, что оставалось, люди преклоняли колени, и фотографировать это без предварительного разрешения было нельзя. Я мог бы еще писать поддельные картины, то есть имитации моих собственных работ, которые по чистой случайности всплыли во время расчистки пыльного чердака: это было бы запросто, проще пареной репы, надо только быть накоротке с какой-нибудь важной шишкой. И картины должны изображать страдание и быть благочестивыми, то есть элегическими, и свободными от какого бы то ни было юмора или политической нагрузки. Или всё-таки я должен делать вещи, способствующие миру и лучшему взаимопониманию между народами? Я не знал.

Но стать писателем имело то преимущество, что мне не нужно было бы держать мастерскую на Севере, ибо писать можно повсюду, например даже в этом трамвае, хотя сейчас мне было не до того. И всё-таки в каждом доме, проплывавшем сейчас мимо, скрывалась книга: за каждой дверью история и за каждым окном – трагедия.

Но вот что тоже было бы весьма недурно, это писать и картины, и книги, то есть и то и другое: *Dichter und Bauer* одним махом. Да, немецкий я хорошо выучил, и это был великолепный язык, музыкальный, прежде всего для маршей, любовных песен и гимнов. Разве не было всё наше существование одним великим гимном? Но где бы мне подрочить? В трамвае было несподручно.

Да, из-за облегчения всё это были весьма необязывающие и фривольные мысли. И у меня не было никаких предчувствий относительно ужасного инцидента, навстречу которому я

двигался. Говорят, что иногда у человека бывает некое предчувствие, но у меня – ничего такого. А о предзнаменованиях и говорить нечего. Или тот милый одинокий мальчик на палубе корабля, и тот приятный немецкий солдат в пассажирской каюте, который был так вежлив и даже пожелал мне счастливого пути, были дурными предзнаменованиями? Босые ножки того юноши были покрыты царапинами, конечно, из-за грубой работы, к коей он был приговорен, но было ли это предзнаменованием? Самое большее – аллегорией трудного путешествия человека по жизни, от смутного начала к туманному концу.

Но теперь к делу: Вы наверняка еще помните указания, полученные мною от г-на Франке: на центральной улице Херенвена спросить дом пастора такого-то (имени его я уже не помню), и этот пастор снабдит меня именем и адресом людей, укрывавших у себя Роберта Х. И по случайности г-н Франке упомянул также название деревни, где пребывал Роберт Х., а также коснулся во всех отношениях благородной, но в некотором смысле «забавной» профессии хозяина дома: городской ассенизатор, забиравший бочки с дерьмом у населения деревни. Нет, я ни в коем случае не предвидел осложнений или проблем.

Пейзаж, проплывающий мимо меня, я мало-помалу начал находить менее интересным. Пейзаж можно всюду найти. Мои мысли обратились внутрь, к недавно произошедшему. Личность и поведение немецкого солдата по-прежнему занимали меня. Его облик и поведение имели нечто общее с обликом и поведением другого немца, довоенного, где-то на воздухе, на солнечной природе. Но что же?

Я упомянул о том, что немецкий солдат похвалил мой немецкий язык, и я из-за этого почувствовал себя польщенным. Я сказал ему, что хорошо выучил этот язык. И теперь вспомнил, что немец захотел узнать, кто меня учил. «Ваши родители? Ваш отец, может быть?» От этого вопроса я вздрогнул, ибо мой отец избежал ареста гестапо и теперь скрывался. И я вспомнил также, что на вопрос солдата быстро ответил: «Нет, в школе».

О чем я сейчас беспокоился? Контроль прошел благополучно, и единственное непривычное в этом было то, что солдат долго и задумчиво смотрел на меня, словно я напомнил ему о чем-то или ком-то. Возможно, о сыне, оставшемся дома или, может быть, в точности как он, бывшем в армии, в униформе, о котором он тревожился, и который немного походил на меня? Немецкие солдаты в Нидерландах во время второй мировой могли испытывать чувства и тревогу, ровно как и другие, но удивительно то, что в Голландии этого всё еще не понимают. Кстати, нередко это были очень красивые мальчики, мечтательные, наивные, зачастую – невинность страны и истинные дети природы.

Но речь шла не об этом. Голос и слова немецкого солдата не были грубыми, но, скорее, задумчивыми, почти озабоченными: он был испуган, не только что касалось его собственной судьбы, но и судьбы других. Всё его тревожило.

И видите, теперь мне вспоминается то, что произошло тогда, на воздухе, на летней природе. Это случилось в середине тридцатых, на территории палаточного лагеря, весьма возможно, летом 1935 года, когда мне было всего одиннадцать лет. На этой территории жил в палатке один немец с

женой и двумя маленькими сыновьями. Воспоминание в целом не слишком радостное, но в моей жизни это было нечто весьма обычное.

Этот палаточный лагерь помнится мне как большой прямоугольный луг, и находился он под деревушкой Грут, лежавшей за дюнами Северного моря и граничившей с Кампердёйном, что у моря, там, где кончались дюны и начиналась массивная морская дамба, обрывавшаяся у Петтена, потому что там вновь простирались дюны. В обеих этих деревушках было нечто невинное и идиллическое, без малейшей претензии на истинный морской курорт. Теперь Вы скажете а не валите ли вы всё в кучу? Я-то думал, что Вы нынче сидите в этом паровом трамвае, который едет из Ставорена в Херенвен, по крайней мере так я понял. Вы же ведь Герард Реве, который всегда говорит только об одной вещи зараз, и только когда он с ней покончил, приступает к следующей? Вы же обычный католический парень из народа, а не народный враль? Ну, мне приятно слышать это от Вас, из чего явствует, что Вы понимаете и цените мой труд. Конечно, я не Улисс, прямо скажем, который внезапно восклицает *Rejoice! Rejoice!* потому что сидит на планете Юпитер[70]. У всякой пташки свои замашки, но тот кривой певец, Улисс, делал это самое со своей собственной дочерью, теперь я Вас спрашиваю! Католик-отступник к тому же, то есть от плохого к худшему. Его замороженный бюст нынче висит в Литературном музее, так что теперь Вы знаете.

---

70 Автоматическая межпланетная станция «Улисс», предназначенная для изучения Солнца и Юпитера, была запущена в 1990 году. Обыгрывается также имя Джеймса Джойса, автора романа "Улисс".

Но я Вам всё объясню: трамвай этот отнимал много времени, ибо путешествия тогда были куда более длительными, нежели сейчас. Но существование было гораздо менее суетным, чем нынешнее. Прогресс – не всегда улучшение. Ведь благодаря длительности моей поездки на трамвае я могу рассказать Вам о том, что произошло тогда, в год 1935 от Вочеловечивания, в палаточном лагере. Нет, не то, что Вы подумали, ибо всё это имеет умозрительный характер. За порнографией можете еще куда-нибудь, мест с избытком.

Эти две деревушки, Грут и Кампердёйн, еще до войны были весьма популярны в качестве мест отдохновения у прогрессивных интеллектуалов Амстердамской *scene*, которые всё хотели делать достойно и, прежде всего, трезво, потому что «никакой такой туризм» был им не нужен, но всё для людей, чью судьбу они принимали весьма близко к сердцу. Возможно, Зандворт, который был расположен куда ближе, был для них слишком вульгарным, но я не решаюсь исключить, что деньги тоже играли роль. В этих двух артистических деревушках, Груте и Кампердёйне, всё стоило только крупицу того, что нужно было бы отстегивать в Зандворте и прежде всего в Схевенингене. И я также подозреваю, что бравые пейзане из упомянутых деревушек с глубоким почтением взирали на знания и жизненный опыт этих амстердамских строителей совершенно нового и более справедливого общества. И дети, не дети пейзан, а дети этих друзей народа, могли иногда сказать что-нибудь по-французски или английски, с ходу, без подготовки. Эти три четверти одаренных детей, или, по крайней мере, половина, рано или поздно попадут к психиатру, да, кто бы мог поду-

мать? Смертей или самоубийств из-за наркотиков или алкоголя тогда еще не существовало, ибо это неотчуждаемое наследство было припасено для внуков. Секса тогда тоже не существовало: думаю, что они делали это через воронку. Единственный сексуальный инцидент, который мне вспоминается, случился в Кампердёйне, в один субботний вечер в кафе *Klop*, когда девушка, с которой я танцевал, внезапно сказала мне: «Расскажи мне побольше о себе». Да, это уже упомянуто где-то в книжке, мне нет нужды Вам рассказывать, однако всё еще саднит.

Частично мои воспоминания стерлись, не из-за деменции, но оттого, что всегда имелись пустые куски, такие, как мое раннее детство, примерно до пяти лет, о каковом периоде я ничего не помню, что, возможно, вовсе не так уж и страшно. Благодаря нарколизу – или как оно там называется – узнать, что твой отец приставал к твоему дружку или что мать твоя страстно вопила в объятиях молодого соседа-католика, что мне с того? *Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.* (Еккл. 1-18).

Помню, что в тридцатых я не раз жил с родителями в палаточном лагере в деревушке Грут. Разумеется, у нас самих палатки не было, ибо родители мои, невзирая на все их благие намерения и склонность к самопожертвованию, были не от мира сего, и я также остаюсь не от мира сего. Правда, я вижу всё, даже слишком многое, и запоминаю всё, но найти в этом мире свой путь, истолковывая это увиденное, мне непросто. Я не боюсь животных, это факт, но боюсь людей, и это мне не нравилось до тех пор, пока меня не успокоил

пассаж из книги Селина, по праву знаменитого французского писателя, который заметил: *Людей, только людей – вот кого надо бояться.* Но речь не об этом.

Мы – мои родители и я – располагались биваком на этой территории вместе с одним дельцом и его женой, которых мой отец перекрестил в коммунизм. Эти люди достали себе – а может, привезли свою – большую палатку и в придачу спальный тент, чуть поменьше. Все ладили друг с другом, и я не припоминаю никаких ссор или натянутости.

Среди интеллектуальных и прогрессивных амстердамцев действовала порой такая система: по окончании каникул палатку, не разбирая, передавали другому, с непременным условием, что после дальнейшего использования ее, сухую и квалифицированно сложенную, вернут владельцу, но этого не происходило никогда, я имею в виду, не возвращали. Не то чтобы ее присваивали себе – просто-напросто она, кое-как сложенная, валялась дома у классово сознательного товарища, откуда и приходилось ее забирать собственноручно. Да, тогда недосчитывались двух натяжных шнуров, пропадала половина колышков, но как это случилось, никто не знал. Поэтому я, чтобы одним махом всех мух убить, предложил моему издателю один из моих романов назвать «Сам с палаткой», но выяснилось, что название уже имелось в одной из серий их фонда: самому то и самому сё, стало быть, всё, можно делать совершенно самостоятельно. (Еще менее подходящим они сочли название «Кто еще сам строчит»?)

Территория кемпинга называлась *Лошадиный рай*, почему, не знаю. Я упоминаю об этом, дабы послужить литературе как науке, но не знаю,

смогут ли отрыть забытый мною случайно в земле палаточный приколыш. Я больше никогда не ездил туда посмотреть. Ревистолог-то, конечно, будет своей лопаткой тыкать в бетонные сваи, несущие на себе гигантскую жилую коробку в шесть этажей, ибо так устроено: против этого не попрёшь.

Но вот на что я надеюсь: на то, что там смогут жить старые рыбаки и старые мореходы, у которых будет вид на море, ибо море всегда несет утешение. А внизу, в цокольном этаже, будет клиника и приют для животных, где жильцы могут приглядывать и ухаживать за своими питомцами, пернатыми или четвероногими, любого вероисповедования или политических убеждений, то есть так же и католическими животными, но это само собой разумеется. И в бухте, вестибюле или сквере – статуя Беспощадного Мальчика, стоящего или коленопреклоненного перед Матерью Божией, возможно, рука об руку: Беспощадный Мальчик и Сатана спасенный, который благодарит Ее за заступничество, никогда не терпящее неудачи. Возможно, это получится, ибо уже тогда наблюдалась некоторая озабоченность интеллектуалов в связи с возрастающим количеством католиков в той области, прежде всего в ближней деревне Схорл. Эта озабоченность так никогда ни к чему и не привела, ибо католики куда плодотворнее, нежели не-католики, вроде того, что посевы на земле католика растут лучше и приносят больше урожая, чем у инакомыслящего. Это так, и в Вагенинге[71] также подтверждено статистически, но публиковать рапорт запретили, наложив вето, то

71 Wageningen – город и община в Нидерландах, в провинции Гелдерланд.

есть запрет Совета Дворян. Да, в нашей маленькой стране была и есть мухлевка и подтасовка, уж это не сомневайтесь.

То, что территория кемпинга называлась Лошадиный Рай – это не моя выдумка, ибо после войны я там тоже провел пару сезонов, иногда один, иногда с кем-то, причем был всегда настолько разумен, чтобы выбрать того, к которому не чувствовал определенного притяжения.

Территорией управляли г-н и г-жа Кос, владельцы, думаю я, то есть капиталисты, но приличные, честные и предупредительные люди, которых я не могу призвать в свидетели, ибо думаю, что их уже нет на этом свете; но всякий, кто знал их, может подтвердить мои слова.

Благодаря наплыву интеллектуалов в этом лагере много было разговоров о политике и положении в мире, о чем вскоре подробнее, хотя смысла в этом было мало.

Те, кто мог заплатить больше, нежели пребывание в палатке, снимал с 8-12 единомышленниками целый меблированный дом, жители которого на это время перебирались в садовый сарай. Прежде всего после войны в сие идиллическое местечко съезжались весьма важные особы – запастись новыми силами и поправить здоровье, такие, как писатель-историк Лу де Йонг[72], директор амстердамской театральной школы Вилли

72 Louis de Jong (1914–2005) – историк и журналист. Был директором Национального института военной документации (RIOD) с 1 октября 1945 года до выхода на пенсию 1 мая 1979 года.

Пос[73] и блистательное семейство Ромейнов[74] (Ян и Анни со своими детьми-вундеркиндами). В том, что в Голландии народ всё еще не пришел к власти, эту супружескую пару, Ромейнов, винить нельзя: они вместе, плечом к плечу, стояли за пролетариат и против империализма, хотя никто не знал, где он и с чем его едят. Также против вооружения Запада, после войны, и за «мирный советский народ», невзирая на подозрительные сообщения, доходившие до Запада, которые людьми думающими со временем не могли больше приниматься за пустую болтовню.

Кстати, с тех времен мало что изменилось, кроме того, что количество детей и внуков тех прогрессивных членов, которые теперь «ходят к психиатру», умножилось многократно, так что дела идут, контора пишет.

Я продолжаю рассказ о том годе, должно быть, 1935, когда я с родителями жил в кемпинге на той территории и мне было одиннадцать лет. Там же в палатке, как я уже сказал, отдыхал один немец с женой и двумя маленькими сыновьями. Мой отец, который очень хорошо знал немецкий и говорил на нем, потому что был родом из восточного Твенте[75] и перед первой мировой несколько лет прора-

---

73 Willy Philip Pos (1912–1977).

74 Jan Marius Romein (1893–1962) – историк. Совместно с женой Анни опубликовал несколько работ об истории Нидерландов. Anna Helena Margaretha (Annie) Romein-Verschoor (1895–1978) – писательница, историк, жена Яна Ромейна.

75 Twente – историко-географический регион на востоке Нидерландов, в юго-восточной части провинции Оверэйссел; на востоке граничит с немецкими федеральными землями Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия.

ботал в Германии, с этим немцем разговорился. Разговор этот перерос в непрерывный упорный многосерийный дебат, ибо истинный коммунист просто так от потенциального прозелита не отцепится.

Мой отец был прав, в этом я был убежден, иначе он не стал бы так долго упорствовать. Коммунисты знали бесконечно больше, нежели другие люди, прежде всего о тайных соглашениях, которые капиталистические страны заключили друг с другом против Родины Всех Рабочих, также именуемой Советским Союзом. Но если эти договоры были тайными, откуда было известно, что они существовали? Этот вопрос мне в голову не приходил и отцу моему тоже.

В моей памяти остался образ темной гравюры или карандашного рисунка из книги Чарльза Диккенса или Жюля Верна: мой отец и этот несчастный немец, оба сидят на складных стульчиках под навесом палатки, при скудном свете штормового фонаря марки *Feuerband*. То, что при этом свершалась мировая история, не исключено, но в высшей степени маловероятно.

Моему отцу было тогда 43 года; немец, инженер, был много моложе, где-то тридцать-тридцать пять. У него было худощавое, задумчивое лицо, и говорил он, обдумывая слова, жестикулировал мало и голоса не повышал. Моя мать хлопотала возле палатки, собирая посуду, стиральные принадлежности и брошенную грязную одежду, и складывала всё это в палатку. При этом она прислушивалась к разговору, но не участвовала в нем. Она верила всему, что заявлял мой отец, ровно как и я, хотя мало что из этого понимала, а я так и вовсе ничего.

Думаю, что я тогда, в тот достопамятный год 1935, был сформирован жизнью. Во мне произошел поворот, благодаря которому я начал понимать, что зло придет к власти и воцарится навсегда. К сожалению, это ощущение оказалось верным. Зло теперь больше не может рассматриваться как отсутствие добра *(privatio boni)*, но требует признания и легализации: это новшество. Нет, не зря мы уже многие годы тому назад перешли из знака Рыб *(Pisces)* в знак Водолея *(Aquarius)*. Это означает закат цивилизации, возможно даже и всего мира. Я ни во что такое не лезу, Вы это знаете, но не находите ли Вы, что наступило время подвести черту? Ибо на то, как это всё выглядит сейчас, просто невозможно смотреть? Почему и зачем должны мы еще жить? Ну да, смотрите сами: я никому не навязываю своего мнения, но умываю руки и отказываюсь от какой-либо ответственности.

По счастью, немец вернулся в свою палатку, спать. Мой отец был усталым, недовольным. У глупого этого немца, инженера, определенно имелись свои идеи, которые совершенно не совпадали с отцовскими. Но отец оставался неутомим. Он давал бесплатные уроки социалистической диалектики на дому, но также с удовольствием являлся с дополнительными занятиями домой к жертве. Один вечер – под навес к тому, другой вечер – под навес к этому. Немец определенно через это прошел.

Отец не откровенничал относительно достижений своего ученика. Мать время от времени рассказывала мне кое-что, то есть я знал из вторых рук, но думаю, что то, что она сообщала, было в точности то, о чем шла речь. Немцу было

мало дела до политических воззрений моего отца. Он не был коммунистом, но не был и национал-социалистом. Проводя каникулы в Нидерландах, он на какое-то время спасал своих детей от власти гитлерюгенда. На немецких пляжах уже тарахтели национал-социалистические громкоговорители, точно так же, как социалистические в России, но там не только на пляжах, а еще и в поездах, на станциях, детских площадках и в магазинах, в которых практически нечего было купить.

«Он думает, что будет война, – сказала моя мать. – Он боится, что его мальчикам придется в армию». Да, то, что тревожило этого немецкого инженера, было совершенно абсурдно и за уши притянуто. За исключением страха этого человека перед войной, мальчики тут были ни при чем: старшему было всего двенадцать лет! Мужику призраки мерещились, вот и всё. Позволит ли интернациональный мировой пролетариат империалистическому нефтяному капиталу вновь повести себя на бойню, подобно безвольному убойному скоту, чтобы стрелять в других пролетариев, с которыми он даже не был знаком? О нет! На полях битвы и в траншеях немедленно произойдет братание, которое сделает ничтожным всякое различие в языке, происхождении, танцевальном стиле или манере одеваться. И покуда существовал Советский Союз (Отечество Всех Рабочих & Миротворческая Сила), мировая война немыслима.

Чего не знала моя мать, не знал мой отец, не знал я и что не было известно также и озабоченному немецкому инженеру, это то, что немецкие бронетанковые части, немецкие военные летчики и немецкий воздушный десант в мирное время

в огромных количествах могли тренироваться в Советском Союзе, в тайне, разумеется, ибо Гитлер тогда еще не осмеливался в открытую нарушать Версальский мирный договор.

Не слишком приятно узнать, что немецкие пилоты, сравнявшие Роттердам с землей, и немецкие парашютисты, приземлявшиеся в Гааге, Звейндрехте и Дордрехте, тренировались в Советском Союзе. Увы, это правда, а правда не всегда отрадна.

В Херенвене я сошел на нужной остановке и очутился на улице, которую указал мне г-н Франке. Всё, таким образом, шло, как было задумано, и мне пришлось только спросить у прохожего, где дом пастора. Правда, я сделал это не сразу, а сперва посидел на уличной скамейке под деревом. Вообще говоря, усталости я не ощущал, но чувствовал, что должен немного отойти от пережитого, как бы преувеличенно это ни звучало. И я чувствовал себя подавленным, причем даже не мог сказать, почему.

Времена были трудные, но должен ли я рассиживаться и еще более осложнять себе жизнь? Наша маленькая приморская страна, несомненно, переживала трагическое время, полное угроз и опасностей, но если я буду начеку и по-прежнему стану вести себя осмотрительно, то опасаться мне нечего. Да, на обратном пути на пароходе мне придется вновь пройти тот же контроль, но если по дороге туда было сочтено, что мои бумаги в порядке, почему по дороге оттуда должны возникнуть трудности? Можно как угодно сходить с ума, но что толку? Опасности, да, они существовали, ибо сама жизнь была одно длинное и опасное путешествие, одно трусливое бегство,

да, но от чего? От смерти? Это я вычитал где-то, что ли: *Трусливое бегство от смерти?* Возможно и так, ибо сам такого не выдумаешь, если у тебя все дома. Это было пессимистическое искусство стихосложения, определенно, ибо буржуазная литература была не конструктивной, но насквозь негативной, для того, чтобы отвлечь рабочую молодежь от классовой борьбы.

Если бы я стал поэтом или писателем – что, разумеется, было совершенно невозможно, это просто была идея – то я не писал бы о смерти, но об отважных рабочих, которые тайно сходятся под открытым небом, на природе, стало быть, дабы совместно «засвидетельствовать свое массовое желание бороться против войны и варварского фашизма». Да, к природе рабочий класс был настроен доброжелательно, ибо об этом даже слагались стихи.

Поскольку я не хотел полностью исключать из моей rêverie[76] желание стать художником, перед внутренним взором я четко видел эту возвышенную картину, на природе то есть, на поляне в глухом и темном лесу.

Но теперь странное было в том, что эти классово сознательные рабочие, собиравшиеся на поляне в темном лесу, были все поголовно молодыми людьми примерно моего возраста, и совершенно не было там женщин и девиц. К счастью, у меня было объяснение: эти женщины и девицы оставались дома, дабы нежнейшим образом стирать и выштопывать молодым рабочим их одежки, а также белье и носочки и ах так аккуратно складывать их в стопочки. Ибо одежки могли быть бедными, но не рваными и не грязными.

---

76 Мечтания *(фр.)*.

Я видел, что на одном из молодых рабочих почти такие же штаны, как на том босоногом юноше с палубы судна, с исцарапанными голыми ножками, Вы определенно должны помнить. На нем, молодом рабочем, была блеклая синяя рабочая блуза с наполовину подвернутыми рукавами. Но было еще кое-что. Ветром отогнуло тяжелую ветку, и я увидел, что этот молодой рабочий держал на плечах мальчонку, который с довольным видом вертел головой. Обоих я видел спереди, но теперь молодой рабочий сделал несколько веселых танцевальных па, скорее шаркая, нежели танцуя, и я разглядел его сильное тело сбоку и сзади. Мальчик в триумфе воздел ручонки, но, вообще говоря, этого больше не требовалось, ибо моя мужская штуковина уже восстала во всей своей огневой мощи.

Я об этом не просил: не просил о мыслях, не просил о представлении и не просил о том, чтобы моя мужская штуковина сделалась большой и твердой, тогда как воспроизведение рода было тут ни при чем.

По сути дела, этот молодой рабочий, взрослый, но совсем еще мальчик, был символом – хотя дома я такого слова ни разу не слыхал – в точности как этот лес. Теперь я понимаю больше, чем тогда: этот рослый пролетарский парень в своих хорошо подобранных штанах и с этим славным сынишкой, верхом у него на плечах, был определенно прообразом вечной Матери Божией с ее вечным Сынишкой, а места поклонения ей находились по большей части в шелестящих лесах. Иными словами: я стоял тогда с глазу на глаз с Благодатью, но кто в это суетное время задумывается о таких вещах?

Тогда я ничего не понял, кроме того, что из-за своих индивидуалистских чувств и противоестественных мыслей очернил и запятнал чистоту, непорочность и единодушную пролетарскую готовность к борьбе. Может ли такое пройти само по себе, или нужно доктора звать?

Но, возможно, я считал себя слишком уж важным, из-за своей гордыни. Ибо что значил я как индивидуум среди народов в их героической борьбе за более справедливое общество? И между тем была война: я что, внезапно об этом забыл? На меня, к примеру, мог упасть военный самолет. Или на обратном пути, пока я опять буду сидеть на корабельной палубе, исподтишка поглядывая на босоногого юношу, да что там, просто подсматривать за ним, судно из-за ошибки в навигации может налететь на какое-нибудь разбитое корыто и затонуть, причем я в панике или по собственной неповоротливости погибну, тогда как в этом нет совершенно никакой необходимости. И что тогда станется с босоногим, до крови исцарапанным милашкой? Такие мысли были мрачными, согласен, но тем не менее они были.

Погибнут ли все на борту в этом столкновении? Возможно, это было притянуто за уши, но я всё равно задавался этим вопросом. И если из нас двоих, я имею в виду босоногого юношу и себя, один может остаться в живых, а другой нет, и мне придется выбирать, кому из нас двоих оставаться жить, кого бы я выбрал? Вместе, в объятиях друг друга уйти на дно – это было бы самое прекрасное, но действительно ли я этого хотел? Беспокойство мое возрастало. Вообще говоря, я предпочел бы, чтобы судно вовсе не тонуло, ибо тогда и юноша, и я остались живы, и я сразу избавился бы от трудного выбора.

Да, этот мальчик занимал мои мысли, и я по-прежнему думал, что не в первый раз видел его на той палубе, что уже встречал где-то прежде. Но как, когда? Я не прикоснулся к нему тогда, в темноте, или я что-то выдумываю?

Подошла женщина с двухколесной тележкой для покупок, весьма изобретательно, по всей видимости, переделанной из половины шасси старой детской коляски каким-нибудь любителем, возможно, мужем этой женщины, но мне не было до этого дела. В тележке сидел ребенок, уже не младенец, но маленькое существо лет двух от роду. У женщины было недовольное лицо, но это было ее право. Когда она подошла поближе, я окликнул ее, и она остановилась. «Сударыня, не знаете ли, где дом пастора? – спросил я очень вежливо. – Должен быть где-то здесь».

Что-то привело женщину в затруднение: мой вопрос встревожил ее. Ожидая ответа, я разглядывал ребенка, но не мог определить, был ли это мальчик или девочка. Дурной знак? Человек должен знать, что ему можно, чего нельзя, это всегда было моей установкой.

Женщина, казалось, немного испугалась меня, что, разумеется, было нелепо, но вполне объяснимо: я был совсем не из этого города и даже не из этих краев, это явственно было слышно по моему произношению. Это могло означать, что я – какой-нибудь проходимец, не в литературном смысле этого слова, хотя я часто влюблялся, а некто, переезжающий из города в город, частенько даже не платя за это, и надувающий людей жалобными россказнями. Ибо на что человеку из совершенно другой местности адрес пастора, когда он этого пастора, возможно, даже и не знает? Женщина

меня раскусила: я хотел облегчить пасторские карманы на пару центов. Лицо у нее и впрямь было свирепое. Потому и с ребенком ее двухлетним было не понять, мальчик он или девочка: нужно ко всему быть готовым.

– Это там, – безжизненно сказала женщина, указывая в нужном направлении. – На этой стороне. На двери написано. – И она пошла дальше. Определенно она думала не могу я во всё вмешиваться пастор пусть сам разбирается с кем якшаться. С этой точки зрения она была права.

Я встал и направился в указанном угрюмой женщиной направлении. Да, вот и он: подделка под аристократический дом шестидесятилетней давности. Было ли там на двери имя пастора, я уже не помню, но медная табличка точно имелась, на которой, кажется, значилось: ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЦЕРКОВНЫЙ СОВЕТ, так всё шло хорошо, хотя по-настоящему хорошо я себя не чувствовал. Я всегда всё видел в черном цвете и таким образом принимал во внимание, что не всё всегда идет, как задумано: может быть, Роберт Х. находился сейчас по совершенно другому адресу; или пастора как раз в это время призвали к постели умирающего, а ответ знал только он; короче, никогда не знаешь.

Я позвонил и услышал внутри электрический звонок. Я ждал, и ожидание это длилось довольно долго. Я засомневался, не позвонить ли мне еще раз, но так сразу было как-то неприлично. Может быть, кто-то сидел в уборной, и если его этаким бессердечным образом оттуда выдернуть, то, считай, день его испорчен. Но в конце концов я всё-таки позвонил еще раз.

Мне открыла женщина лет сорока, в цветастом ситцевом платье, не выходном, а домашнем, в каком, например, сметают пыль. Она испытывающе оглядела меня, что́ я приписал ее недоверчивости. Помимо этого, странно было и то, что она не осталась внутри, но одной ногой ступила наружу, на верхнюю ступеньку кирпичной лестницы.

– Что вам? – спросила она твердо, но всё же негромко. У нее был странный, почти сиплый голос, и теперь мне бросилось в глаза, что лицо ее было усеяно красными пятнами.

– Мне нужно поговорить с пастором, – сказал я. – Я из Амстердама.

Женщина огляделась по сторонам и через плечо. Я ничего не понимал, но у этой женщины не без проблем. Милого дружка никогда не было, вот нервишки и шалят, так, кажется, это называется. Но это было не мое дело.

– Пастора нет дома, – сказала женщина. Я спросил, когда его можно будет застать. Пастора нет в городе, услышал я. Я спросил, могу ли я побеседовать с Госпожой. Нет, она в постели с головной болью. Я начал злиться.

– Может быть, она всё же уделит мне пару минут? – спросил я умоляющим тоном. – Мне нужен адрес, я за ним приехал. Из Амстердама я.

Женщина еще больше занервничала и вновь стала оглядываться. Теперь она выставила наружу вторую ногу.

– Прочь! Убирайтесь! Вы что себе думаете! Прочь! Прочь! – И она немедленно отступила назад и громко хлопнула дверью у меня перед носом. Мир был странен, это я знал, но вот такое не каждый день с тобой происходит.

За дверью я теперь услышал голоса, приглушенный мужской, неразборчивый, и перекрывающий его голос той женщины, исполненный досады и негодования. «Вечно это попрошайничество! – вопила она. – Что только ни выдумывают, с ума сойдешь! Кусок хлеба они получить могут, но ведь им же денег надо, денег! Всегда денег!»

Я медленно удалился, механически пошел в сторону трамвайной остановки, соображая, что делать. Эта женщина была не хозяйкой дома, но домработницей, которая, вероятно, свою работу выполняла сравнительно хорошо, хотя у нее имелись свои странности. Был ли пастор в самом деле в отъезде, и в самом деле ли лежала его жена больная в постели? Это могло быть правдой, но уверенности у меня не было.

Что же мне делать? Я мог позвонить, ибо где-то определенно была будка с телефонной книгой. Но если пастор был в отъезде и жена его лежала в постели с мигренью, то трубку взяла бы краснопятнистая домовая ведьма, это уж как пить дать, и дальше ни хрена не продвинешься.

Вернуться в Амстердам? Нет, у меня на уме было еще кое-что. Деревня, в которую мне нужно было попасть, была недалеко, название я знал. По карте я видел, что она небольшая: милое селеньице, деревня, конечно, но при этом местечко, где все друг друга знали. И я знал, какая профессия у хозяина дома.

В этом был шанс. Если у меня ничего не выйдет, я всегда мог на обратном пути вновь завернуть к дому пастора и посмотреть, вернулся ли разум к этой домработнице. Получится, не получится, никогда не знаешь, но если не попробовать, то и результат не жди.

Не знаю, что Вы об этом думаете, Просвещеннейший друг, но думайте что угодно. Вы просто хотите того мальчика из поезда, у которого всегда клёво с друзьями, и того, совершенно невинного юношу с палубы судна, с исцарапанными босыми ножками, Вы их хотите обесчестить, подвергнуть насилию и нагими связать друг с другом, дабы истязать одновременно. Только для этого и ни для чего другого читаете Вы мою книгу, ибо останется такой мальчик в живых или умрет, Вас это не касается. И при этом жаловаться: Вы так несчастны и так одиноки, это что-то! Нам нужно как-нибудь оснастить Вашу квартиру парочкой микроскопических микрофончиков, плюс скрытой камерой, которая всё видит. И за Вами также будет слежка, до самого института флагеллантов, где должны стонать от боли и корчиться перед Вами дети, некоторым еще нет десяти лет, брошенные мальчики, которым предстоит стать Вашей добычей. Вокруг Вас должна затянуться сеть, больше ничего не скажу, ты, грязная экзистенциалистская прыщавая рожа. Я лично знаю полицейских, которые с Вами поговорят, уж будьте спокойны! Правда на марше, и ничто ее не остановит.

Да, правда, вот о ней-то и речь. Не думайте, о вы, мои верные читатели и читательницы, что я когда-либо что-то утаю от вас.

Из дурацкой сцены перед дверью пастора я тогда ничего не понял, и лишь потом узнал, в чем было дело: пастор вовремя получил известие, что его предали и что ему нужно было как можно быстрее смыться. И когда я звонил в дверь, гестапо было уже в доме с обыском. Возможно, я туго соображал, и надеюсь, что Вы не сердитесь на меня. Кстати: почти все эти люди теперь уже давно мертвы.

Глава XXIII

Теперь мне пришлось ехать дальше, опять паровым трамваем, в ту деревушку, расположенную у одного из фризских озер, и где я надеялся, положившись на свое чутье, разведать местопребывание Роберта X. Это было странное предприятие, и настроение мое беспрерывно менялось от весьма бодрой веры в то, что мой план совершенно точно удастся, до глухой подавленности в духе ничего не получится и вот увидишь тебе придется назад в Херенвен, чтобы опять быть облаянным и обруганным чокнутой бабой в дверях пасторского дома. Чем я такое заслужил, самый юный герой Сопротивления? Да, как это было? Не было ли, в сущности, в корне неправильно допускать таких людей в «подполье» или «нелегалку», как в то время называлось Сопротивление на эзоповом языке. Эти христиане, священники или нет, какое тебе было дело до них? Куда хуже: священники, которые всё же провозглашали в своих проповедях, что рабочим надлежит влачить свой жребий в качестве рабов капиталистических эксплуататоров? И протестант или католик, один черт? А папа римский, он же был заодно с империалистическим нефтяным капиталом и во время каждой импе-

риалистической войны благословлял оружие? И Рим ведь стоял за Гитлера? Я узнал это дома, и понял, и запомнил. И я во всё это верил, тогда, но теперь уже нет. Смотрите, вот в чем разница между Вами и мной. Я молюсь за Вас, и это мой долг, но вообще говоря, что меня касается – да хоть подохните. Да, в приливе человеколюбия я написал, что помогу Вам с местечком на кладбище и глухой стенкой, но тут уж Вы сами смотрите: Смерть есть Смерть, так я понимаю. Существует довольно много людей, согласных со мною на сто процентов, то есть больше, чем Вы думаете.

Нужный мне трамвай отходил с той же остановки, на которой я сошел, так что искать мне не пришлось. Вагон был полон лишь наполовину, кондуктор – степенный мужчина лет сорока, с уже седеющими волосами, определенно положительный отец семейства. Я подумал, что могу подойти к нему с рассказом, что, будучи яхтсменом, год или что-то вроде того назад с парой приятелей останавливался в семье того муниципального рабочего, сборщика бочек, и что люди эти были так любезны и так нам помогали, а вот имя и адрес я позабыл.

Кондуктор отнесся ко мне со всем вниманием и даже присел напротив меня. Я довольно достоверно преподнес историю, как нечто, хоть и забавное, однако не такое уж и важное, и что это была просто моя идея – еще раз попытаться отыскать этих людей. Прежде всего я старался не произвести впечатления того, что сам умею ходить под парусом, ибо тогда мог бы попасть впросак: нет, я только немножко на борту помогал, хотя по хорошей погоде мне разрешали подержать руль. В маленькой гавани мы из-за собственной

неуклюжести очутились в воде, нет, не крушение, поскольку никаких убытков, мы только «промокли как мыши», а потом «этот добрый человек» отвел нас к себе домой, чтобы мы прополоскали одежду и высушили ее на веревке.

Кондуктор слушал зачарованно и время от времени восторженно взглядывал на меня: чего только не испытал этот молодой народец! Они просто не видели опасности! Надо учесть, что тогда еще не существовало телевидения.

Похоже было, что от этого кондуктора мне нечего ждать, ибо хотя он и ездил почти ежедневно туда и обратно до деревни, которая была мне нужна, но самой деревни не знал. «Я, значит, сам-то из Болсварда, – объяснил он, – там и сейчас живу». Вообще говоря, это было под Болсвардом, сознался он, не в самом Болсварде, но в местечке поблизости, напротив. Хотя оно «подпадало» под общину Болсварда, что правда, то правда.

Мой рассказ был воспринят хорошо, так что при следующем выступлении на публике мне не было нужды его дорабатывать. А он, кондуктор, продолжал смотреть на меня во все глаза. Теперь, много лет спустя, я думаю, что он был урнинг, хотя и женатый, как положено, и дети были, и что у него порой возникали чувства, которых он сам не понимал. Теперь сделалось аристократичным то, что прежде им отнюдь не было. Теперь, если ты социалист и при этом гомо, в два счета становишься госсекретарем Закрытых Дел или послом в Поврании[77].

---

77 Pauvranië – обыгрывается французское слово pauvre (бедный).

Я мог выбрать из двух остановок: первая – на краю деревни, вторая – в центре. Я выбрал вторую и немного побродил там. Нет, большим это местечко не было. Я видел человека с ягдташем и удочкой: рыбку ловить. Он жил здесь и явно знал дорогу, это было определенно. Я заговорил с ним и изложил ему свою выдуманную историю. Человек немного подумал и задумчиво кивнул.

– Да, – сказал он, – думаю, что догадываюсь, кто бы это мог быть. – Он говорил не на фризском, а на некоего рода вольнодумнонидерландском, и я решил, что он какой-нибудь культуртрегер или орнитолог-любитель, в любом случае – друг природы, ибо в противном случае на рыбалку бы не пошел. Без малого тридцать, прикинул я, и еще довольно привлекательный, но не тот человек, чтобы жить с ним в одном доме со всеми этими книжками из Мировой Библиотеки, портретом Трулстра[78] в гостиной и Горняка кисти Торопа[79] в коридоре. Но я тут не об этом.

– Дети у них были? – спросил он. – Или нет?

Я темнил:

– Дети, нет, не видел. – И теперь он назвал имя того, кто определенно был мне нужен, такой-то и такой-то. – Но выполняет ли он всё еще эту работу, я весьма сомневаюсь, – упомянул он газетным языком, но это было не важно. И теперь он назвал еще и адрес и стал объяснять дорогу. – Пойдете по той улице, направо, значит, она называется так-то и так-то. Дойдете до аллеи по правую руку, на нее

---

78 Pieter Jelles Troelstra (1860–1930) – социалист, политический деятель, во Фрисландии был весьма популярен как писатель и поэт.

79 Johannes Theodorus Toorop (1858–1928) — крупнейший представитель символизма в нидерландской живописи.

свернете. Третий, думается мне, дом, справа. – И тут он положил мне руку на плечо, так, что я перепугался, не знаю, почему. – А может, это и четвертый, например, я точно не знаю.

Я весьма сердечно поблагодарил его, потому что это был истинный друг человека, какие нечасто встречаются, хотя после войны он непременно будет выходить на демонстрации с мирными манифестациями против американского и английского империализма, об руку с принцессой Ирэн[80] и специально прилетевшим из Отечества Всех Рабочих русским цирковым клоуном. Удочку свою он всё еще поднять может, но свой собственный-этот-самый уже никак, потому что всё время налетают из облаков ревущие самолеты НАТО и подавляют его любовь к человечеству. И по-настоящему ведь нас на Западе не освободили? Ну да, если он сейчас еще жив, то тогда точно должен уже помереть, в середине восьмидесятых в любом случае. Но приковать себя к решетке военного аэродрома, это всегда пожалуйста. Так же безумно, что я по-прежнему думаю о таких вещах, в то время как по этому человеку ничего такого не скажешь. Дурно с моей стороны писать такие вещи, по крайней мере, я сам так думаю.

Я свернул в аллейку, у которой было название, что-то вроде Кастаньелан, Бог его знает, мы ведь народец изобретательный. Она была узкая, замощенная битым шлаком. По сторонам шла высокая плотная живая изгородь с прямоугольным проходом перед подступом к каждому дому. Я миновал первый проход справа, второй, и оста-

---

80 Irene Emma Elisabeth der Nederlanden (р. 1939) – нидерландская принцесса, сестра экс-королевы Беатрикс, тетя нынешнего короля Нидерландов Виллема Александра.

новился перед третьим: моечная, большое окно и рядом с ним дверь в дом. И что же: за тюлевой гардиной большого окна я успел заметить быстро нырнувшую в сторону голову Роберта Х. Так-так, стало быть, приплыли. Кто бы ни открыл, в этот раз он не сможет отправить меня прочь со всякими увертками.

Да, вечер, ночь и утро, которые я провел там, это стандартная история, так что я спрашиваю себя, получите ли Вы от нее какое-либо удовольствие. К тому же дорога обратно, по сравнению с дорогой туда, тоже была нестерпимо скучной. На сей раз на судне вообще не было проверки ни документов, ни багажа, совсем ничего! Чистое везение, но я в такую хрень не верил. Я думал, что это могла быть уловка: могли подсадить пару изменников родины в каюту к пассажирам и допросить их: как знать. Но я, вообще говоря, забегаю вперед событий. Того, что проверок не будет, я загодя не знал, узнал лишь по прибытии в гавань Энкхёйзена, когда всех без малейших формальностей пропускали на борт.

И отсутствовало еще кое-что: как я, даже еще до отправления судна, ни шнырял по палубе и везде, где только можно, и где бы ни присаживался и не вертел головой в разные стороны, юноши там не было! Какого юноши? Но Вы же не слабоумный: Вы же могли запомнить, что я Вам рассказывал десять-двадцать страниц назад? Или Вы этак просто пролистываете, чтобы найти «пикантные пассажи»? Повсюду искать только ягодки, верно ведь? Да, пощупать ягодички того мальчика и обесчестить его невинное и тайное отверстие! Конечно, в первую очередь я имею в виду Вас, Ученейший Друг, но также не пощажу и некото-

рых других читателей, которым очень хотел бы от души врезать по морде. Нет, не моих преданных читательниц, ибо они нередко также и матери, а женщина таких вещей не делает.

Но сколько часов и расстояний я ни намотал на этом дурацком судне, не босиком, а в своих тяжелых, латаных-перелатаных ботинках, пока ноги здорово не разболелись, что было, конечно, благодатью, но дальше: какая неудача! Всякий знает, что жизнь полна разочарований, но я недостаточно принял это во внимание. Правда, я много думал о нем, об этом юноше, и в маленькой чердачной комнатке в доме тех храбрых людей в той деревеньке, совершенно один на своей одинокой раскладушке, я возбуждал себя из-за него. И при этом глубоко и остро думал о исцарапанных ножках юноши. Возможно, появились и новые царапины, потому что он был такой милый. И, может быть, одна из его ранок воспалилась и сверху появилось много влаги, хотя, к счастью, боли он не испытывал. И внезапно, если на палубе не было никого, кроме нас, я бы встал перед ним на колени, взял бы его ножку и поднес к своему рту, чтобы насухо высосать его ранку. Но осмелюсь ли я на это по-настоящему? Вопрос более не являлся безотлагательным, ибо юноши не было, и это меня злило после всех моих блужданий.

Как случается чаще, мое рабское преклонение превратилось в угрюмую злобу. Почему его не было, этого юноши? Что, отгул он взял? Ведь он был бедным и отвергнутым? Как мог он тогда иметь свободный день? Ему бы радоваться, что его не бьют, так я об этом думал. Отвергнутого, бедного и вечно униженного юношу порой совсем не били, но и отгулов у него никогда не было. И

если он изо всех сил рвался заполучить отгул, да, тогда всякий рабочий день ему доставались колотушки из-за ложных обвинений в том, что слишком мало сделал и слишком много рассиживался, теребя свою штуковину.

Да, мальчика, который мухи не обижал и был таким прилежным, бить такого мальчика – это уж совсем чересчур. Самое малое, что можно было бы, это подвергнуть наказанию ту его область, в которой спина начинает называться по-другому. Господи боже, как же вздымался мой собственный мужеский прут, когда я думал о кнуте, который был принужден со свистом опускать на него его собственный братишка или дружок. Я опасался, что кто-то это увидит, под моей одеждой, столь могучи были мои чувства сострадания и столь ужасно пронзал мое юношеское сердце его голос, мольбами взывающий о пощаде. Что это был всё же за мир, в котором мы жили! Вся эта война, это же, в сущности, были пустяки? Я был одинок, и никто меня не бил, и какой был смысл в этой жизни?

Теперь, когда его не было, в смысле на борту, образ мальчика встал передо мною отчетливей, нежели вживую. «Я знаю тебя, милый мальчик, – с уверенностью думал я. – Я видел тебя прежде». Как пришла ко мне эта мысль? И откуда, скажите на милость, взялась эта идея, что я «касался его в темноте»? В квартире? В сарае? Где-нибудь на природе? Или мне всё это приснилось? Погоди, погоди: приснилось… Сон, значит… Но как, когда…?

Да, я вдруг это понял: это и впрямь был сон, который снился мне по ночам в полицейской камере. Это было в 1941 году. 25 июня того года, утром,

часа в четыре, два голландских сыщика явились арестовать моего отца, но его не было дома. Открыла мать: брат и я спали без задних ног. Эти двое полицейских зашли в наши спаленки, пожелали узнать у моей матери, сколько нам лет, осмотрели нас, конфисковали пишущую машинку отца и отбыли. Было ли это изъятие пишущей машинки обычным грабежом, не знаю. Вполне могло быть, но, возможно, они хотели – и это в те времена уже было возможно – сравнить шрифт машинки с шрифтом подпольных листовок, машинописных, которые почти всегда размножались на так называемом циклостиле.

В октябре или ноябре было еще одно вторжение, на сей раз днем, и, кроме некоторого количества книг и нескольких фотографий, взяли также брата и меня и посадили в отдельные камеры.[81] Дня через два-три нас оттуда забрали на допрос в контору Немецкого *Sicherheitsdienst* (S. D.) на амстердамской Дуленстрат. Мать не знала, где мы, и вздумала пойти сразу в Детскую полицию, явно полагаясь на то, что мы были еще несовершеннолетними. Единственное, что она там услышала, это то, что мы сидели где-то в амстердамском полицейском участке, но не сказали, в каком.

Отец скрывался в Харлеме, у одной дальней родственницы матери, тёти Ламмехин, которая содержала пансион у канала. Мать скрывала от

---

81 22 июня 1941 года отец Реве скрылся. Тайная полиция действительно искала его; немцы регулярно являлись в дом Ван хет Реве на Йозеф Исраэльскаде 116-1 в Амстердаме. Карела и Герарда даже арестовывали, чтобы убедить их выдать адрес отца: 26 ноября они были задержаны и через несколько дней освобождены.

отца наш арест, опасаясь, что он явится в полицию. Мы, брат и я, играли в несознанку: отец наш «был с другой женщиной», но где, мы не знали. В итоге мы, что называется, «едва ноги унесли», ибо адрес отца был нам известен. Страх пронимает только потóм.

Но речь о том, что касательно немецкой оккупации (по мнению голландцев, это была единственная несправедливость во всей мировой истории) всегда нужно рассказать какую-нибудь историю, ибо люди хотят это слушать, чтобы в ней было как можно больше трагизма, мужества и страдания, чтобы одним махом избавиться от всего этого нытья. Что им за дело до голимой правды, правда эта у них и дома есть.

Я еще неоднократно совершал экспедиции, подобные фрисландской, и распространял газеты Сопротивления, что было довольно рискованно; но герой, нет, я героем себя не вижу. Но, как говорится: если у тебя нет истории, то мы тобой печку растопим. Так что я в некотором роде Каспар Хаузер[82], загадочная фигура так никогда и не выясненного происхождения, который был найден немым в лесу, а потом заговорил по-латыни, ибо на надгробии его, например, написано *Enigma Sui Temporis* (=Загадка своего времени), и *Ignota Nativitas* (=Происхождение неизвестно). Так что не всегда этот идиотизм, нет: маленькой девочкой лично знала Е. В. Королеву: люди едят это, что

---

82 Kaspar Hauser / Casparus Hauser), прозванный «Дитя Европы» (предположительно 30 апреля 1812 – 17 декабря 1833) – найдёныш, одна из загадок XIX века. Юноша, практически не умевший ходить и говорить, был найден в Нюрнберге в 1828 году, убит неизвестным пять лет спустя.

хлеб. Цитирую еще: *Самый Молодой Герой Сопротивления; В Нашей Индии Сражался Под Знаменем Е. В. Королевы;* и потом: *Сражался Добровольцем В Корее.* (Один молодой, однако одаренный художник, согласно недавнему военному фото, весьма ловко изобразил меня в закамуфлированной каске; сие произведение искусства находится в частной коллекции.)

Нет: дым сражений ни в малой степени не уродует человека, так я думаю об этом. Потому уклоняющиеся от военной службы ко мне не приходят, это увольте. Понятно? Думаю, что да.

Я не должен отклоняться, посему вновь упоминаю: я думал, что уже прежде встречал этого босоногого мальчика с корабельной палубы, чьи ножки так сильно были исцарапаны, да, и даже «прикасался к нему в темноте». И в конце концов я вспомнил, как, где и когда. Это было той первой ночью, которую я провел в полицейском участке, лежа на койке под конской попоной; мне не спалось, как Вы можете себе вообразить, ибо ситуация была страшноватая. Но в конце концов я заснул и увидел сон. В этом сне я сидел прямо, ноги на земле, и в камеру вошел мальчик, приблизился ко мне слева и осторожно лег грудью ко мне на колени. На нем был темный шкиперский свитер и черные плисовые штаны, которые из-за согнутой позы натянулись между его крепких холмиков. Я довольно сильно наподдал ему по штанам, и он забарахтался и застонал, но сопротивляться не стал. И вновь нахлынул на меня хмель нежной и жестокой любви, так, что я, задыхаясь, ощутил, как истекает из меня мой горячий юношеский сок. Я пробудился, но мальчика уже не было: это было всего лишь сновидение. Но юношеский мой

сок определенно истек в одежду. Я уставился на лампочку на потолке, поскольку всё это время лежал на спине. Я не знал, что об этом думать, и не осмеливался на какое-либо мнение. Это было нечто ужасное, что рано или поздно сделало бы меня изгоем.

Разумеется, я никому не мог рассказать об этом сне, не говоря уж о том, чтобы истолковать его. Позже, гораздо позже, когда я вычитал из книг, что бессознательное порой хочет что-то сообщить и нередко помогает понять то, к чему сознательное еще далеко не готово, я отважился без предварительного согласия на определение. Мальчик подошел слева, то есть из прошлого, первозданного, незнакомого и, таким образом, еще не познанного, а также и потаенного, но ведь оттуда же появилась и сама жизнь. И он подошел слева, – если осмелиться посмотреть на это несколько фривольнее, потому что знал, что я левша. Вины своей я не видел, поскольку он явился добровольно, иными словами, послушно своей собственной воле. И мое удовлетворение было также и его удовлетворением, иначе он бы «попросил о большем». Но кто мог тогда мне это объяснить? Самое большее, что умели эти интеллектуалы, среди которых я был вынужден жить и которые всё оставляли на народ, это посоветовать мне кастрацию.

Тонкий, порой колдовской характер некоторых снов часто указывает на то, что они могут быть истолкованы более чем одним способом, причем всякое истолкование сводится к одному: буквальное; мистическое; аллегорическое; или обыгрывающее пословицу или каламбур.

Вот что хотел поведать мне тот сон: Ты должен принять себя таким, какой Ты есть, ибо лишь тогда испытаешь Ты любовь. Тогда в Твоей жизни появятся мужчины, которые захотят любить Тебя и быть любимы Тобою. (Любить означает также и желать, я это отлично знаю, зануда).

В данном случае бессознательное дождалось подходящего момента, в который моя жизнь в буквальном смысле находилась в опасности, а в переносном – в духовном кризисе. Сон в полицейской камере, когда жизнь под угрозой – это, вообще говоря, впечатление производит.

Но я этот сон не понял, поскольку был воспитан, чтобы стать интеллектуалом, чего, к счастью, не случилось.

Сны часто бывают богаче смыслом, чем события дня. И порой они содержат провидческие предсказания, которые в этом случае станут для Вас печальным сюрпризом.

Ибо только после войны я узнал из газеты, что в марте 1945, то есть за два месяца до освобождения нашей героической маленькой приморской страны, этот паром, на котором я претерпел столько радости и горя, по пути между двумя гаванями был по ошибке пущен ко дну союзническим самолетом. Все ли погибли? Да, вся команда, это было в газетах, и с теми, кто в тот момент еще был на борту. Война – гнусное ремесло, тут всякий со мной согласится. Погиб, стало быть, и он тоже, навсегда, этот милый любозверь.

Я очень долго продолжал думать о мальчике, мальчике на палубе с исцарапанными ножками. Это был тот самый мальчик, который в ночной камере полицейского участка так любезно оказал мне услугу.

То, что его босые ножки так жутко были исцарапаны, было трогательно, но это было также и предзнаменование. Он сопровождал меня, и он защищал меня. Он поистине шел впереди меня, можно сказать метафорически. Он был моя смерть, которая не случилась, но стала его смертью, и отчего так, никому не ведомо. Я вспоминаю его со слезами и надеюсь когда-нибудь вновь увидеться с ним.

Это море, я уже упоминал о нем, было давно не морем, но отгороженным дамбой ограниченным пресноводным озером, и всё же я хочу предложить вашему вниманию следующие слова:

Пусть Твой святой ангел бдит у тела сего. И пусть все, кто упокошлся на дне морском, будут освобождены от оков греха; во Имя Сына Твоего, Аминь.

Глава XXIV

Я по-прежнему думаю о бедном Жан-Люке, столь рано и столь трагично ушедшем из жизни, на чьих похоронах сейчас началось последнее действие. Я был этим раздосадован, хотя и пытался держаться.

Всё началось неправильно, Вы хорошо помните: эта нелепая шахматная доска в их саду, где росло то жуткое вишневое дерево, с которым было всё нормально, но оно не плодоносило; и вдобавок на фасаде тот гротескный текст, искусно сооруженный из железобетона, на котором красовалось лучащееся солнце и название 4 *Soleils*. И в завершение – изящная кровать с балдахином, так и не освященная: и это тоже было легкомысленной поделкой, как бы профессионально ни была она изготовлена. Остался бы Жан-Люк в живых, если бы он, стоя у этой кровати, обратил ухо свое к моему любовному призыву? Но этот любовный призыв я ведь никогда не озвучил? И то правда, подумал я. Всё, значит, было, несомненно, моя вина, но, может быть, всё-таки не совсем. Ибо они заняли у меня тачку, которую я только после длительных настойчивых просьб сумел получить обратно, верно ведь? И Жанна, убитая горем мать

Жан-Люка, которая подарила мне французскую библию в переводе Сегона[83], просто так. Возвращение тачки и бесплатный дар этой французской библии – уже в этом была ошибка. И пустить меня к ним в дом было вовсе легкомысленно, поистине искушать судьбу.

Грешно ли они поступали? Нет, так далеко мне заходить не следовало, думал я. Однако они пролили свет на непонимание и отсутствие понимания. Поскольку я всегда был занят одной темой, Смертью, которая в то же время есть тема любого искусства, я сеял ее повсюду, где появлялся, что было удовольствием, но в то же время и слабостью.

И теперь я с весьма неприятным чувством ожидал грядущего длительного траура со всеми этими разговорами в духе как жаль, что всё так вышло, что это был такой милый мальчик, и как в голове не укладывается, что такое могло произойти.

Завладеть его фотографией, просто выпросив ее, как это будет расценено? Красивую фотографию и желательно, если возможно, ту, где он играет в футбол, или он просто в мокрых плавках среди пляжных птиц. То есть не сидящим за столом перед шахматной доской, когда видна только верхняя часть его тела, ибо это меня не слишком интересовало, хотя отсутствующие детали я вполне мог вызвать перед своим мысленным взором. Он был мертв, в этом и состояла вся проблема, и самому пытать его или предоставить его товарищам по играм изобретательно мучить его – это теперь было исключено. Было много чего

---

83 Louis Segond (1810–1885) – швейцарский теолог, переведший Библию на французский язык.

нужно, чтобы получить мастурбационное видение, ибо он погиб из-за безразличия и не из-за обоснованной жестокости. То есть смерть ни на что не похожая, возможно, потому, что был он тупой зануда, утопавший в шмотках, которые за так получал в подарок: костюмы, всяческая обувь для прогулок, дорогие галстуки и даже, возможно, в качестве сюрприза украшенная изящной вышивкой сицилианская крестьянская кепка. Я бы хотел махом затянуть у него на шее один из этих дорогих галстуков, чтобы он начал задыхаться по-настоящему; или dito, накинуть удушающий узел на его любовную пушку, и не только петлю, но еще и два колесика, и всякий раз так туго затягивать петлю, чтобы он сознание терял от боли.

Вот так надо обращаться с этими протестантами, и уж точно, если они утонченные и против войны. Моя Церковь в настоящее время больше так поступать не рисковала, хотя и молчаливо была за меня, ибо она всё еще Церковь для простых людей с настоящими чувствами.

Но того, чего я хотел, больше было нельзя, поскольку мучить мертвеца было бы бессмысленно, и от тела нужно держаться подальше, так я полагал: прикасаться к нему можно только для того, чтобы он поприличнее выглядел в гробу. У меня имелись прелестные четки из Лурда, из граненых бусин кроваво-красного стекла (60 французских франков, в сущности, не деньги), которые я охотно пожертвовал бы Жан-Люку и с удовольствием уложил бы на его скрещенные мертвые ручки; и четки, если понадобится, опустить вместе с ним в могилу, хотя при окончательном закрытии гроба я предпочел бы получить

их назад. Но непочтительно прикасаться к трупу было нельзя, и того, кто с умыслом оскверняет могилу, нельзя оставлять в живых.

Завладевать как можно большим количеством имущества усопшего после его похорон было некрасиво, но и не противоречило учению: возможно, это была условно разрешенная вера.

Достойные картинки Жан-Люка меня не интересовали, ибо ценности никакой не имели, потому что он не покончил жизнь самоубийством и тем более не лежал в психиатрической клинике. А я – да: один раз попытка самоубийства, один раз клиника, но никаких картинок. И всё еще живой, что тоже было недостатком.

Но завладеть его фотокарточкой – искусство невеликое, если только будешь достаточно долго клянчить. Он не был по-настоящему красивым, но для определенного рода мужчин – вполне привлекательным, благодаря его юношеской позе невинности, теплоты и нежности. И такая непорочная жизнь! Не курил, не пил, а вставало у него только если кто-нибудь играл знаменитую сонату ля бемоль, Штаубманна или Клеревитца. Какой зануда! Как я вообще мог запасть на такого типчика? Возможно, потому, что я всеядный: лишь бы у него было три лапки. И что же осталось от всех этих вращательных движений в одиночку? Боль в яйцах, и порой, после четвертого-пятого раза, даже капелька крови. Вот как быстротечно всё было. Но его одежда, ботиночки, за этим я должен был приглядывать, чтобы они не ушли в Красный Крест: нужно быстро реагировать, поскольку что упало, то пропало.

При всём этом я, отрешившись от материального, был чрезвычайно заинтересован в том скорбящем его дружке, продекламировавшем невнятный стишок; его лицо, волосы, силуэт и голос меня до невозможности возбудили. В нем была кровь изменника родины, но он был красив, а остальные жан-люковы дружки – нет: от всех расовых теорий не осталось и следа. Он был несколько небрежен в отношении чужих денег, но за тебя дрался до смерти. И у него было великолепное имя, хотя и всего лишь предварительное: *Витал Виталис*, ибо это имя я на время придумал для него. Итак: этот канашка, шалун Жан-Люк, был мертв, тогда как Витал был живехонек-здоровехонек, разница всё же есть. И у этого Витала, конечно, была собственная гордость, но ничего он так сильно не хотел, как чтобы белый, настоящий мужчина как минимум раз в день давал ему шлепков, а потом седлал его пылающую лисью норку, больно-не больно, лишь бы этот белый мужчина его любил. Таким образом получалось больше взаимопонимания между народами, но понимание это возникало не из-за того, чтобы ты свои собственные волосы белого человека стягивал в пучок или заплетал в косицу. Этот Витал, у него были красивые, гладкие, темные волосы, и он был жестоким и не был пацифистом, ибо обладал огого каким орудием любви. Всё вращалось вокруг любви, словно Земля вокруг своей оси.

Но сию же секунду после его трогательного выступления я потерял его из виду. Скорбь горячила кровь, стало быть, на кладбище я попытаюсь свести с ним знакомство.

Между тем я двигался к выходу из церкви, позади людей, следовавших за гробом.

Было уже довольно поздно, который час, я забыл, но церемония началась с большим опозданием и к тому же слишком затянулась.

В обычае было, чтобы люди пешком следовали за катафалком, который двигался черепашьим шагом, ибо расстояние от богова дома до боговой делянки было делом менее четверти часа. Но, выйдя на улицу, я заметил множество фланирующих людей, однако никакого катафалка с процессией позади нигде видно не было.

Мой автомобиль был припаркован неподалеку, так что через несколько минут я уже мчался к месту упокоения, но печальной процессии не нагонял.

Вечно что-то случалось, и я не понимал, почему. Мертвый был мертв, и можно было всё организовать без него. Почему катафалк таким необъяснимым образом уехал в одиночку? Ибо так оно и вышло!

Я, конечно, догадывался, в чем было дело: прямо перед началом службы нужно было где-то забрать тело, достать из выдвижного ящика холодного морга. В этом не было ничего смешного или непочтительного, и уж точно не при такой высокой летней температуре. Но забрать его, конечно, до двух часов было невозможно, ибо часы между двенадцатью и двумя были священными: всё в этой замечательной стране крутилось вокруг жратвы, как можно больше, как можно дороже, и желательно сваренным живьем, зажаренным живьем, ибо мучение улучшает вкус. Это поистине был народ, среди которого чувствуешь себя как дома. Так что у этого трупоносного люмпен-пролетариата в полдневные часы должно было

быть времени с лихвой, чтобы хорошенько вымазать фуфайки арахисовой пастой. Два полных часа, значит, и никак не меньше.

За несколько минут я добрался до кладбища, поставил машину и торопливо, энергичным шагом направился к временному пристанищу покойников. Ах, только посмотрите! Эта торопливость моя вновь подтверждала мою склонность к панике, с мыслью в духе если я не потороплюсь то опоздаю.

Картина, представшая мне, указывала на то, что последний ритуал только-только начался. Я видел открытую могилу, по четырем сторонам ее внушительные горки земли. В специальном выезде для служебного транспорта – катафалк, повернутый ко мне кузовом.

Вокруг могилы, но на некотором расстоянии, стояли группами примерно сотня провожавших. Гроб еще не извлекли из автомобиля, так я подумал, и ждали остальных скорбящих, которые еще не подошли.

Но я ужасно ошибался: некоторые уже начали расходиться.

Я всё еще не понимал, как и что, потому что часто вижу то, что думаю, и так же часто не вижу того, что происходит в действительности. Я вижу много чего, поистине царство представлений. Без большого труда вижу величие Господа во всех вещах, в то время как другой относительно этого сомневается и отгораживается от них близорукой критикой. У меня другие заботы, в отличие от писак в ежедневные газеты, ибо я к вещам подхожу серьезно: всякая халатность мне чужда. Бог Одинок, и Он – Бог Страждущий: я не могу в достаточной мере это подчеркнуть. Бог – это Страда-

ние Мира, когда-то сказал я, за что меня не поблагодарили. (В одном сне был мне голос, сказавший: «Утешь Меня в Моих Муках, будь со Мной в Моем Одиночестве». Я что-то пробормотал в ответ вроде того что я сделаю это но как? Да, порой мне снятся прекрасные сны, благодаря чему я остаюсь в добром здравии, также и психически). Но мы хоронили Жан-Люка, не правда ли, и мне нужно придерживаться моей истории. Итак: похороны уже состоялись, как Вам это понравится? Я имею в виду, что предание земле тела уже произошло!

Думаю, что смутно что-то такое предчувствовал. Я медленно вышел вперед, подошел к краю могилы и украдкой заглянул внутрь. Взял горсть земли и бросил ее на крышку. Потом опустился на колени на кучу земли, склонил голову, осенил себя крестом и попробовал думать. «Прощай, Жан-Люк, – прошептал я. – Теперь ты вечно можешь делить Страдание с Господом и вечно быть одиноким с Ним». Нет, его вины тут не было. Если и шла речь о ней, то вина была моя. Но это также могло быть и глупостью.

Всё больше людей уходило. Могильщики засунули свои орудия в черную машину, захлопнули багажник и были таковы. Где же цветы? Только сейчас я заметил, что они были разбросаны там и сям по краю могилы, и до меня дошло, что в головах гроба лежал венок. Почему я не видел некоторых вещей, которые в самом деле были там? Так в мире далеко не уедешь.

Вот на что я обращал внимание, и машинально продолжал следить, был смуглый принц-греза Витал Виталис, но его нигде не было видно.

Жанны, жан-люковой матери, тоже было не видать. Возможно, она уехала домой сразу же

после положения в могилу, хотя и не в сопровождении всех этих культурных дружков ее трагически погибшего единственного сына. А может быть, ей хотелось побыть одной.

Где был Витал Виталис, мне никто рассказать не мог, кого бы я ни спросил, ибо истинного его имени, коим наградил его знахарь, я не знал. Он вполне мог быть на уроке игры на гитаре, ибо жизнь шла своим чередом.

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ГДЕ ТЫ ЗАСЕЛ

Жить как Реве во Франции[84]

'La Grâce', дом Герарда Реве в Поэт-Лавале, Франция, 1997

На фасаде дома "La Grâce" Герарда Реве в южнофранцузской деревне Поэт-Лаваль, département de la Drôme, имеется дорожный знак, означающий тупик. Ступивший на этот путь должен оставить всякую надежду, поскольку, несмотря на то, что дом носит утешительное имя «Благодать» – рядом с входной дверью синими плитками выло-

84 Обыгрывается голландская поговорка «Жить как Господь во Франции», то есть беззаботно.

жено изображение Марии и слова: “Nossas Stas das Gracas”– и этот французский декор в жизни Герарда Реве также неизбежно связан со смертью. Тот, кто, несмотря на предупреждающий знак, всё-таки пойдет по этой дорожке, мимо рабочего уголка “Le Verbe"[85] входит в мир романа «Книга о фиолетовом и смерти» (1996). В начале этого романа герой, стоя на обочине за своей «одинокой резиденцией» “La Grâce”, видит в соседском саду гигантскую шахматную доску из черно-белых плиток. Сад, – пишет Реве, – собственность «швейцарского пастора Н.». В саду пасторской семьи есть вишневое дерево, которое никогда не плодоносит.

“La Grâce” пришла в упадок, поскольку писатель переехал в Бельгию. И хотя жалюзи закрыты, возникает ощущение, что кто-то смотрит на меня из дома. Это чувство усиливается с каждым днем – теперь, когда я живу на местной ферме и покупаю хлеб у *boulanger*[86] через дорогу от “La Grâce” . Из магазина ясно можно разглядеть название “La Grâce” на камне фасада. Кроваво-красные розы у входной двери стоят в цвету.

---

85 Глагол *(фр.)*.

86 Булочника *(фр.)*.

Герард Реве рядом с ‘La Grâce’, 1978

На деревенской улице форштевнем большого корабля возвышается дом, который Реве купил в семидесятых в качестве зимней резиденции в Дроме. 9 августа 1973 года Реве пишет из своего «ситроена» во дворе Le Diable Vert[1] письмо к Эрнесту де Р.[2], включенное в книгу «Я любил его» (1975): «13.10. Медведь, теперь у меня есть ключи от La Grâce. Дом замечательный. Иду отправлять письмо. Я полон энтузиазма». Из письма к Симону К.[3] (1982) явствует, что 18 июля 1973 года Реве подписал купчую на дом. Он знал его уже много лет и надеялся когда-нибудь приобрести. Шакал узнал, что он продается. В «Шести письмах к Руди К.» (письма к Руди Каусбруку, «Альбом Герарда Реве», 1983) Реве пишет из La Grâce 18 января

1 «Зеленый Дьявол» *(фр.)*, таверна в городе Дьёлефи (Дром).

2 Под этим именем в книге «Я любил его» фигурирует художник Joseph Cals (Шакал).

3 Кармиггелту.

1979 года: «Но однажды появился знак a vendre[4]. В то время я собирался жениться на Шакале, и он нашел дом в долине лучше, чем каземат размером 4 × 5 метров в горах. Цена была довольно скромная, и я еще здорово поторговался, и через пару дней стал гордым владельцем сей недвижимости». Как известно, Реве в то время был также владельцем «Тайного Убежища»[5] в горах, которое служило Летним Дворцом.

На первом этаже, со стороны фасада – балкон. 18 февраля 1973 года Реве пишет Тини и Симону Кармиггелтам, что с этого балкона он будет «обращаться с речами к народу или принимать овации». Громкоговоритель на стене балкона действительно наводит на мысль о речах. «Да здравствует капитализм. Смерть рабочим», – я мысленно слышу, как голос Реве перекатывается по скромным крышам горстки деревенских домов.

Слева от балкона висит «антикварный чугунный знак» с названием деревни и годом, когда была построена дорога, соединяющая деревню с внешним миром, «anno 1895». Согласно Реве, этот знак – доказательство того, что его дом – самый важный в деревне; так пишет он в одном из своих «Шести писем к Руди К.». «Думаю, что живым я отсюда уже никогда не сдвинусь», – пишет он Эрнесту де Р. 9 августа 1973 года.

---

4 Продается *(фр.)*.

5 Резиденция Реве в горах, к югу от Веска (коммуна в департаменте Дром, Овернь-Рона-Альпы), в деревне Ле Шован, которую он приобрел у Жермен Шастен в 1969 г.; см. роман «Язык любви» в сб. «Милые мальчики», Митин журнал, 2006.

«Милым сестрицам Мейер» Реве сообщает 30 апреля 1977 года: «Вот, рекомендую как до меня доехать». Подробнейшим образом описывая маршрут, Реве разъясняет, как добраться до деревни. Книги писем, описывающие этот и последующие французские годы, полны таких указаний. И стоит только очутиться в деревне, то единственного вопроса к жителю ("Aaah oui, Gérááárd!")[6] достаточно, чтобы быстро найти дом.

В этой неприглядной маленькой деревушке, за решеткой в рабочем уголке «Le Verbe», в начале своего французского периода Реве перьевой ручкой пишет «Циркача» (1975) и бесчисленные письма. Результатом одиночества, столь необходимого ему, явилось множество таких писем. Но стройка и перестройка продолжались, хотя летом 1973 года ему было почти пятьдесят. *Dichter und Bauer*, так обыкновенно он называл себя в этот период. Ему приходилось не только писать, но и строить. Чтобы не сойти с ума.

В «Письмах Симону К.» Реве подробнейшим образом описывает дом:

Новый дом в П. – большой господский дом + маленькая ферма, все в довольно хорошем состоянии, есть вода, свет, уборная, ванная и т. д. За постройками имеется сад примерно 18 × 50 метров. С трех сторон мой двор граничит с проезжей частью, а с четвертой стороны – с развалинами церкви. Так что без соседей. Представь себе здание в виде старинного корабля, очень высокое спереди, низкое посередине, а затем сзади снова

6 А, да, Жерар! *(фр.)*.

немного выше середины, но ниже форштевня. Двойной фасад, в центре фронтон слегка закруглен (из-за небольшого изгиба дороги), весьма импозантный, с парадным крыльцом и большим балконом, доступным по каменной лестнице.

Затем Реве переходит к названию “La Grâce”, которое, как ехидно поясняет он, означает не «Трава», а «Благодать». С удовольствием несколько задержусь на всех этих каламбурах. В Греонтерпе Реве назвал свой дом “Het Gras”[7]. Имя Reve во Франции – и, следовательно, также в Drôme – часто произносится как “rêve” (“droom”)[8]. И деревня, расположенная неподалеку от Montagne du Poët, для поэта мировой песни должно казаться местом с более глубоким смыслом, если бы слово poët не означало «возвышенность»[9].

«Писательский уголок» ‘Le Verbe’ на задах дома ‘La Grâce’

7 Трава *(нид.)*.

8 Мечта *(фр.), (нид.)*.

9 Первоначальное название деревни – «pogetum vallis», то есть: возвышенность в центре большой долины.

В одном из «Шести писем к Руди К.» (18 января 1979 года) Реве рисует четкую картину первоначального состояния ‘La Grâce’:

… или, скорее, трех домов в ряд […]. Дом №1 был достаточно пригодным для жилья, остальное очень ветхое. Дом № 2 я несколько лет назад снес и сделал из стен огороженный дворик. У домов 1 и 3 в позапрошлом году обновил крыши. В доме №1 имелись только два дымохода, один – на первом этаже, для печки, второй – над открытым камином внизу. Оба – в юго-западной половине дома, так что другая половина, которая сейчас наиболее уязвима для la bize и le mistral, не обогревалась. Я соорудил три дополнительных дымохода аж до самой крыши, а подрядчик, устанавливавший новые крыши, наряду с этим сделал там надстройку с вентиляторами.

Те, кто следит по письмам за строительными проблемами, замечают, что «дымоходы» играют важную роль. Реве (или подрядчик) постоянно ими занимаются. И когда дымоходы построены, должны быть печи, так явствует из «Писем к Матросу Лису» (1997). На местных рынках Реве постоянно ищет приемлемую по цене печь для “La Grâce”.

11 июня 1974 года Реве пишет из “La Grâce” Кармиггелту:

Я часто испытываю – нет, не грусть, но безучастность: для чего мне, одинокому мужчине, две усадьбы, для чего мне тут дом из семи комнат + ванная, дворик, помещение под лавку на задах

дома и в придачу сад на 1000 м²? Люди тут очень приветливые, что да, то да, нужно признать. В них есть некая человечность, задумчивость, чувствительность: французские протестанты, – поистине высокий класс по сравнению с католическим скотом, это по всему заметно. Название моего дома они считают очень красивым. (Я сначала подумывал о NOTRE REINE, изящная двусмысленность, но слишком уж утомительно всякий раз это объяснять)».

В конце этого письма Реве добавляет, что в местной газете “Le Dauphiné Libéré” о нем «был хороший репортаж». Судя по заметке в сборнике писем, статья появилась 5 июня 1974 г. Теперь, будучи здесь, я решил позвонить в “Dauphiné”. Надлежало отправить письменный запрос в архив в Вёре[10]. Две недели спустя на дороге, ведущей к моей ферме, появляется, ковыляя по кочкам, *facteur* в своем старом добром желтом «рено». Мне вручают большой коричневый конверт. Только теперь я чувствую, что *живу* здесь. Сидя в саду на склоне холма за домом, глядя вниз на дорогу, ведущую в деревню П., я гляжу на текст на конверте, синими чернилами: «Мистеру Николасу Кеннингу». Из конверта я извлекаю статью. Основной заголовок: *‘Poète maudit’ dans son pays mais réhabilité par la reine Juliana, l'écrivain hollandais Gérard Rêve a choisi un vieux village drômois pour la période ‘mystique’ de son évolution.*[11]

---

10 Veurey-Voroize — коммуна во Франции в регионе Рона — Альпы.

11 «Проклятый поэт» в своей стране, но реабилитированный королевой Юлианой, голландский писатель Жерар Рев выбрал старую деревню в Дроме для «мистического» периода своего развития» *(фр.)*.

Из «Шести писем Руди К.» явствует, что Реве после посвящения в рыцари (1974) сам сообщил *Le Dauphiné*, что поселился в П. На бумаге со знаком газеты «Пароль» он спрашивает редакцию, может ли региональную страницу заинтересовать тот факт, что в П. живет «знаменитый голландский писатель», долго поношаемый, но ныне награжденный Е. В. Королевой».

То, что Реве затем поведал Жану Дюрану из *Dauphiné*, весьма похоже на мифологизацию, состряпанную в «Жизненном пути писателя» в конце «Циркача». Там Реве рассказывает о своей службе офицером в голландской Ост-Индии, о своем благородном русском происхождении, о вступлении в Римско-Католическую церковь, об ослином процессе, о реабилитации в 1969 году и награде имени П.К. Хофта. Конец этого «жизнеописания» гласит: «В 1974 году Голландии очень хочется забыть о том, что в прошлом она недооценивала, высмеивала и преследовала своего великого народного писателя: благодарное Отечество чтит Герарда Реве, Королевским указом производя его в Рыцари Ордена Оранских-Нассау».

В этом curriculum vitae смешиваются фантазии и реальность. В шестидесятые и семидесятые годы Реве придумывает всевозможные биографические данные, которые окутывали тайной его жизнь, делая его писателем, которым он хотел бы быть: не зависящим от самого себя, не зависящим от своего прошлого. Но фактически он придумать ничего не может. Ложь – это не для доброго католика, говорит он в главе III «Книги о Фиолетовом и Смерти». В следующей цитате из той же главы поднимается проблема более серьезная, нежели осознает большинство читателей: «Вы думаете,

что я пишу, что мне в голову придет, то есть время от времени и как заблагорассудится и притом записываю всякие враки? Ну, тогда у Вас превратное мнение обо мне. Я – добрый католик, который отлично осознает свою ответственность». В середине романа, в главе XII, он говорит: «И эта история тоже не выдумана, так что я записываю ее и делаю из нее произведение искусства, посредством коего хочу одарить прекрасным мой народ и мою государыню».

Но насколько реальна история в «Книге о Фиолетовом и Смерти»? В романе имеется обрамление – похороны погибшего Жан-Люка, соседа автора-героя в Поэт-Лавале – в котором мысли писателя постоянно возвращаются к прошлому. Именно этот импозантный и трогательный переплет придает трагической смерти Жан-Люка значение «смерти безжалостного мальчика»: важная тема книги.

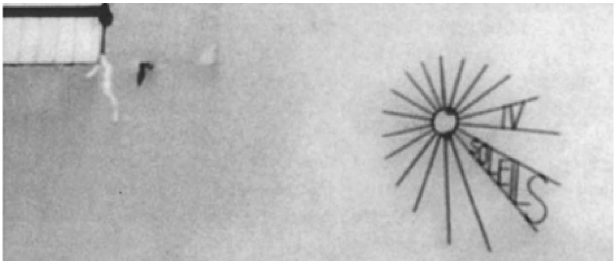
В действительности Реве делит свою жизнь с «Матросом Лисом», которому посвящена «Книга о Фиолетовом и Смерти»; в литературе же возлюбленный остается недостижимым. На белёной стене рядом с входной дверью “La Grâce” выцарапана дата: 1976, а под ней – сердце и якорь. Слева – инициалы MV (Матрос Лис), справа – GR (Герард Реве). «Недостижимый» Жан-Люк действительно жил в десяти метрах от этой входной двери.

Жан-Люк – один из сыновей семьи N.: «Он, сын, был красивый юноша, но это я уже прежде заметил. И моего возраста, хотя основательно моложе». В рассказе о Беспощадном Мальчике Жан-Люке Вера, Любовь и Смерть – вновь – образуют святую троицу. Таким образом основные темы книг Реве собрались вместе в «Книге о Фиолетовом и Смерти» – о ней в романе «По дороге к концу» (1963) было заявлено: книга, которая все остальные книги сделает лишними – и она зажила собственной жизнью. Только к семидесяти годам, в конце своего французского затворничества, осмелился Реве приступить к ней.

Вечером, у яростно пылающего пламени очага, я читаю «Книгу о Фиолетовом и Смерти». Высоко над мной в дымоходе завывает мистраль. Я держу бутылку вина в пределах досягаемости – в качестве утешения. Когда я прочитал несколько фрагментов из сборников писем о Дроме, литература и реальность слились воедино. Я содрогаюсь от мысли о том, что причастился Тайны, о которой сам Реве в вымышленном интервью 1 июня 1958 года (в «Десяти веселых историях») говорит П. Ж. Горре Мозесу: «Можно передать читате-

лю кошмар существования, неохватную глубину времени и пространства, всю тяжесть тоски – да, дать прочувствовать самую тайну путем простого, целенаправленного использования данных из окружающей действительности – которая неисчерпаема – путем столь же простого, целенаправленного использования языка».

На фасаде дома Жан-Люка, со стороны улицы, была сооружена современная композиция из железобетона: «не красивая, – пишет Реве в своем романе, – но бесхитростная и не задуманная как террористическое искусство. Она представляла собой двойной круг, из середины которого вылетал сноп лучей, а между лучами было написано IV Soleils, что означало *Четыре Солнца*. Жанна объяснила мне, что эти четыре солнца символизировали ее четырехкратное счастье, а именно ее мужа плюс троих детей». Два мальчика и одна девочка. Подлинное произведение искусства на фасаде дома точно соответствуют описанию, данному Реве. Фамилия жильцов, значившаяся на почтовой щели в двери гаража, действительно начинается с N.: *Nicod*.



Композиция из арматуры на фасаде дома Жанны

Тем временем, по словам Реве, одно из воспетых в железобетоне солнц закатилось: отец, швейцарский то есть пастор [...] Он погребен на кладбище в соседнем городке Д., однако подробнее об этом кладбище – позже. Город Д. – Дьёлефи, действительно в четырех километрах от Поэт-Лаваля, как пишет Реве в другом месте.

По знакам вдоль дороги, немного за деревней, я узнаю названия Le Diable Vert и Le Pierre du Feu. В последнем доме, в четверти часа езды от Реве, жила театральная пара: Паул Стенберген и Мира Вард[12], с которыми Реве тесно дружил, хотя начало дружбы было негладким. В этом регионе по-прежнему живут многие голландские собратья по искусству. Инез ван Дуллемен[13] описывает в своей книге «Ослиная мечта» (1977), что происходило во втором доме в Дроме. В своей книге она подумывает о том, чтобы привязать своего ослика к дверной ручке “La Grâce” с запиской: «Твой Бог пришел, Герард». Эмалевый уличный знак «Площадь Герарда Реве» на фасаде “La Grâce”, который она описывает, с дома исчез. Точно так же, как «трусики его и преемников Тигры, и флажки, сообщавшие о том, что народный писатель в ударе». Народный писатель давно здесь не бывал. Дом кажется запустелым и заброшенным.

На кладбище в верхней деревне Ле-Поэт-Лаваль похоронены сестры католической церкви Sacré Coeur. Реве часто ходил на это кладбище со своей собакой Лю[14] (Волк!). Церковь закрыта.

12 Paul Jozef Steenbergen (1907–1989) – актер, театральный режиссер. Myra Sijrier (сценическое имя Myra Ward) (1916–1990) – театральная актриса.

13 Inez van Dullemen (1925) – писательница.

14 Loup *(фр.)*.

Монастырь, расположенный рядом с церковью, теперь служит *maison d'accueille*[15], домом для трудновоспитуемых мальчиков. У человека, в котором, как мне кажется, я признаю вожатого, спрашиваю, имеется ли ключ от церкви. Слишком опасно входить, говорит он, указывая на облупленную штукатурку снаружи.

На вершине деревни находится гостиница Les Hospitaliers. Существует хорошая фотография Реве с Яном де Хартогом, напечатанная в «Альбоме Герарда Реве». Эту гостиницу Реве рекомендовал, в частности, Йохану Полаку и Кармиггелтам, на случай, если они захотят посетить его. Реве пишет Каусбруку 13 января 1979: «Слава Богу, никто не знает здесь моих книг, кроме мадам Моран, урожденной Ярсма – она держит шикарную гостиницу *Les Hospitaliers*».

Церковь в Дьёлефи, где происходило отпевание Жан-Люка

15 Приют *(фр.)*.

Кладбище в Дьёлефи

Факты о жизни и смерти Жан-Люка приводят к кладбищу в Дьёлефи, где над могилами возвышаются развалины церкви. Разрушенные стены без крыши и круглое отверстие в верхней части фронтона сильно напоминает руины церкви рядом с “La Grâce”.

Я прохожу мимо надгробий и могил, ища места упокоения отца и сына Никодов. Почти на каждой могиле лежит распятый Иисус, медно-коричневый, словно загорающий на этом всеопаляющем полуденном солнце. На каждом шагу откуда-то порскает ящерица. Через некоторое время я останавливаюсь перед высеченной в камне книгой, на которой можно ясно прочесть имя Alexandre Nicod Pasteur, а на правой странице – изречение из псалма 22 стих 12. Ни надгробия, ни памятника. Книга лежит у подножия маленького кипариса. В своем романе Реве пишет о том, кто здесь похоронен: «Когда я видел, как он по воскресеньям шагал по деревенской улице в Eglise Réformée, с этой его

здоровенной библией под мышкой, мне бросалось в глаза, что он не идет, а шествует [...] Из-за моей неприязни к отцу, вызывавшему у меня отвращение, я чувствовал тем большую симпатию к сыну».

Недалеко от отца похоронен сын. Рядом с кустом фиолетовой лаванды находится панель, окрашенная в кричащие цвета, которая дает понять, что здесь «покоится Никод Жан-Люк». На изображении показана лестница, ведущая к гостеприимно распахнутым небесным вратам. Слева, под написанным золотом именем Жан-Люк, указаны даты: 1996 1992. Белыми буквами начертано стихотворение:

un jour, ton jour
ô mon dieu, je viendrai
vers toi et dans la véritable
explosion de ma résurrection
je saurai enfin que l'amour
c'est toi [16]

Панель опирается на заднюю часть надгробия другой могилы. Буквы несомненно начертаны Юпом Схафтхёйзеном, и из этого я делаю вывод, что текст принадлежит Герарду Реве. Без этой намалеванной на дереве последней почести Жан-Люку *никто* не узнает, что он лежит здесь, среди цветущих фиалок, лаванды и нескольких ярко раскрашенных плоских камней. В углу могилы пламенеет куст роз того же ярко-красного цвета, что и рядом с дверью La Grâce'.

---

16 Однажды, в твой день, о Бог мой, я приду к тебе и в подлинном взрыве моего воскрешения я, наконец, узнаю, что любовь это ты.

Могила Жан-Люка на кладбище в Дьёлефи

Но что означают даты: 1996 и 1992? В романе Реве рассказывает нам, что Жан-Люк из-за аварии на кольцевой развязке угодил в больницу города Вальреас с травмой колена и сотрясением мозга. После операции колена Жан-Люк продолжал страдать от сильных головных болей. Сотрясение мозга было для него фатальным. Таким образом, Жан-Люк погиб из-за «безбашенной молодой личности»: тот «вопреки правилам подрезал его на своем автомобиле». «...того придурка, который взял да наехал на автомобиль Жан-Люка? [...]«Ах, бедный милый Жан-Люк, я так любил тебя, с того самого момента, как увидел, знаешь ли ты об этом?»

Реве описывает траурную мессу в реформатской церкви и похороны на кладбище Д. В самом ли деле Жан-Люк погиб в дорожно-транспортном

происшествии, или же Реве переделал в роман тот несчастный случай, который описал в книге «Я любил его»?

Жители Поэт-Лаваля знают о несчастном случае, который, вероятно, произошел в 1992 году. Говорят, что в аварии участвовал трактор. В романе Реве описывается сообщение о смерти Жан-Люка, выставленное для всеобщего обозрения под стеклом на стене. Возможно, чиновник мэрии может предоставить информацию о годах. После краткого объяснения по моей просьбе сделана копия. Мне можно даже не платить за нее. Пять минут спустя я выхожу на улицу, держа в руке *transcription de décès Jean-Luc Nicod*. «Умер 8 июня 1992 года, в 10 часов…» Он родился в Лондоне, 24 августа 1966, студент, проживавший в Поэт-Лавале, сын Александра Никода (ныне покойного), и Жанны М. Стало быть, «Жанна» в романе выведена под своим настоящим именем.

Жан-Люк родился в 1966 году, Злополучном 1966 году! Глава X романа:

Год 1966 был злополучным годом потому, что в том году я сделался католиком, в точности не зная, хочу я этого или нет. Конечно, я думал над этим, но так толком и не разобрался. Теперь же, по прошествии многих лет, я полагаю, что это был разумный шаг. Без него я бы спился до донышка, сошел бы с ума и уж в любом случае ничего больше не написал бы.

Раскрашенная панель с текстом Герарда Реве

Это был также год Ослиного процесса, гибели Реве из-за короля Алкоголя и его воскресения. Это, как он говорит в «Милой жизни» (1974): «Всех Скорбящих Матерь Хейлосская», которая помогла избавиться от бутылки.

Любопытное совпадение, задним числом, что над Реве в злополучном 1966 году висела опасность отправиться на тот свет в провинциальной больнице в Ассене, а в Лондоне в это время родился мальчик, которому будет суждено сыграть ведущую роль в книге, которую читатели Реве с нетерпением ожидали с 1963 года, после выхода «По дороге к концу». В «Книге о Фиолетовом и Смерти» Реве пишет, что Жан-Люку 27 лет и по гороскопу он Лев: «поскольку я видел дату его рождения в витрине на фасаде мэрии, напечатанной на бумажке, в которой были обнародованы все мутации гражданского состояния». На предыдущей странице Реве пишет: он слышал от почтальона «Филиппа Р.», что Жан-Люку исполнилось 27 лет.

Играет ли Реве с цифрами и числами, чтобы ввести читателя в заблуждение? В действительности Жан-Люку было 25 лет. Он умер примерно за три месяца до своего двадцать шестого дня рождения. Реве, который в целом довольно строго придерживается фактов и прочел год рождения в витрине мэрии («Вы знаете, что я всегда внимательно отношусь к деталям»), пишет в романе: «через три месяца ему исполнялось 28 лет». Заключает ли в себе этот возраст, отклоняющийся от реальности, ссылку на «Маленького неврастеника» доктора Х. Г. де Кока, из которого Реве почерпнул заглавие «Книга о Фиолетовом и Смерти»? В отрывке, где говорится о «книге, название которой будет гласить: «О свете и тени, о фиолетовом и смерти ... И о вдохновении», «Дорус, философ», представлен следующим образом: «Дорус – бедный, слабонервный 27-летний мужчина, высокий, робкий мальчик, который заикается, стоя перед тобой». В Жан-Люке есть что-то от этого Доруса.

Проблема с датой и в другом смысле также остается загадкой. Смерть явилась за Жан-Люком в 1992 году. Но на что указывает год 1996? Может ли это быть ссылкой на год, в который увидела свет «Книга о Фиолетовом и Смерти»? Книга, о которой Реве уже заявляет в «Письме, найденном в бутылке», включенном в «По дороге к концу». В «среду, 24 июля 1963 года», он фантазирует о желании «отдать в пользование» испанскому мальчику «водопроводного Призового Жеребца М.» Он понимает, что это желание никогда не станет реальностью и что эти фантазии могут произойти только в уме во время «магического солосекса Гостиничных Номеров, в коих ты в послеполу-

денные часы, за выцветшими занавесками лишь опаляешь душу, но никогда не утоляешь ее голода. (Р.М. Написать книгу о Фиолетовом, и о Смерти.)»

Тридцать три года спустя Реве всё-таки эту книгу закончил. «Призовой Жеребец М.» уступил место Матросу Лису. Беспощадный Мальчик Жан-Люк, остающийся недосягаемым из-за своей ранней смерти, символизирует недостаточность божественного желания: стремление к тому, чего не существует.

1998

РЕВЕ: «ЗАПОМИНАТЬ ВЕЩИ, ВОТ В ЧЕМ СУТЬ»

Ниже следует отчет об одном веселом и серьезном дне (и ночи) в доме в Махелене. Ранее дом принадлежал одному бельгийскому врачу, а теперь здесь живут писатель и Юп Схафтхёйзен: «Полдня ходим за покупками, ругаемся и скандалим».

Когда электричка, пыхтя, останавливается у перрона в Дейнзе, школьники протискиваются из нее наружу с таким же гамом, с каким ворвались в вагон в Генте. На трескучих мопедах бешено мчатся они навстречу фламандской деревне. На опустевшей вдруг вокзальной площади – телефонная будка. В ней я, как было условлено, набираю номер Герарда Реве, который немедленно отвечает из-за своего письменного стола в близлежащем Махелене.

Через десять минут автор заруливает свой пикап на стоянку. Под курткой на нем плотный жилет из лиловой шерсти. На правом запястье поблескивает серебряный браслет; несколько легкомысленное украшение, которое может

позволить себе только семидесятидвухлетний ребенок с чувством адекватной самооценки. Он веселится за рулем:

– Юп вчера полдня возился, мыл полы, отдраивал гостевую. Там две кровати, на одной жесткий матрас, на другой – мягкий. Юп на обеих белье поменял. Но с кровати на кровать уже нельзя, если посреди ночи вдруг осознаешь, что на другой лучше.

Он выезжает на государственную дорогу, указывая на замки, скульптурные парки и базар, «где плохой китч дороже, чем хороший китч». В «чисто капиталистической» Бельгии восемьдесят процентов населения имеет собственные дома – «над этим еще работают», а законодательство – резиновое: «Бургомистр не заморачивается с разрешениями на перестройки и пристройки и всякое такое». Дом врача в Махелене, который он приобрел с Юпом Схафтхёйзеном три года назад, стоил половину стартовой цены (как минимум миллион), которую запросили бы в Нидерландах.

– Нет, – говорит он, когда я завожу речь об интервью, в которых упоминается его «бегство» из вырождающейся, загрязненной и становящейся все более опасной для жизни страны его читателей. – Такое всегда не лишне сказать; газеты это охотно печатают. Но я не позволю изгонять меня. Я могу жить где угодно. В одних странах дурного больше, чем в других, но покуда держишься подальше от города, это большого значения не имеет. Мне надо было гораздо раньше это сделать. Двадцать лет трудов писательских, и вот в 1964 на меня впервые в жизни свалились деньги. Тридцать тысяч гульденов, сейчас что-то вроде двух

тонн[1]. Поехал искать во Францию. Прямо через границу, чуть в сторону от Брюсселя или Антверпена, особняк стоил двадцать, двадцать пять тысяч гульденов. Вот не знал». Сейчас на продажу выставлены Тайные Угодья – «La Grâce». Ухмыляясь, он говорит: «Может быть, что-то для молодого голландского писателя, – он тут же прославится, ибо живет в доме, принадлежавшем Герарду Реве. А заем сможет выплатить, водя туристов».

Сквозь высокие окна проникает зимний свет, поблескивает на паркете. Густой сад ограждает монументальную гостиную от уличного шума. На стенах масса картин и африканской резьбы по дереву.

– Я бы не смог больше жить в квартире, – объясняет хозяин из своего кресла по другую сторону переносного столика. – Одна только мысль о шуме от верхних или нижних соседей, который пришлось бы слышать, вгоняет меня в панику. Я оплакиваю те десятки тысяч людей в Амстердаме, которые хронически маются от шума вокруг них. Против этого ничего не делается, и им самим не разрешено ничего делать. Нижним соседям надо бы подняться к верхним и вышвырнуть из окна мебель, телевизор и всё семейство. Да, и людей тоже, ибо только тогда покой наступит, понимаешь, да? Государство может защищаться от нападения, но индивид себя защитить не может. Раньше что-то еще делалось в связи с этим, электричество отключали или что-то в этом роде. Думаю, что девять из десяти человек, которые попадают на денек в клинику, страдают от соседского шума. Но для Партии труда эти люди не важны; они – лишь четверть избирателей. Они, может быть,

1 Т. е. 200 000.

не осмеливаются даже выходить за дверь, чтобы отстоять очередь на избирательном участке, у них тем временем могут дом обнести.

Он довольно кивает, когда я делаю предположение, что он все меньше и меньше понимает человечество.

– Да, художник должен быть один, иначе он ничего не сделает. Одиночество неполно. Писатели, которые каждый день ходят в пивняк, чтобы

услышать последние истории, – это скорее хроникеры повседневности. Можно написать мировой роман, если полгода прожить в доме, окруженном лесом, и не видеть никого. К счастью, тут к нам очень мало ходят. Во Франции иногда бывали художники, друзья Юпа. Они, как правило, сваливались как снег на голову. А если всё-таки с ними загодя договаривались, они являлись в лучшем случае в четыре часа пополудни, хотя должны были быть на месте уже в одиннадцать утра. И ничего им такого не скажешь, всё совершенно нормально. Юп стоял, готовил для людей, которые появились только через два дня. И больше их уже не выставишь, и сидят, и треплются до шести утра, с выпивкой и с бумца-бумца-музыкой на всю катушку, а то неуютно. Если сюда кто-то приходит, вероятность того, что это интересный человек, один к ста. Я людям желаю всего хорошего, но им нечего мне сказать. Массовый человек может теперь говорить только на языке телевидения. Этакий, кто говорит, что ты должен функционировать, – типа того. Ну, я предпочитаю не функционировать. Или вот они говорят, что все миленько. Они видели такую хорошую программу по телевизору, детки там танцевали. И у некоторых деток была только половина ноги, и все же как это

миленько было сделано. Такие люди не скажут, что им плохо, они скажут, что у них конфликт идентичности. Не то чтобы я хотел быть один. Я просто не хочу, чтобы мне навязывали окружение людей, которые мне не интересны.

В «Книге о Фиолетовом и Смерти» он беспощадно расправляется с некоторыми оставшимися друзьями и поклонниками, которые, возможно, еще полагали, что могут рассчитывать на его симпатию.

Например, Руди Каусбрук, переписку с которым он десять лет назад опубликовал в библиофильском издании «Твоё письмо немного запоздало», был лишен звания любимого собрата по перу:

– Он собирался рассказать мне, как я должен писать книгу. Он считал, что я должен писать ее как диск. Когда я спросил его, что это еще такое, ответа не получил. Понятно, он имел в виду книгу без начала и конца, но ему не хватает эрудиции. Каусбрук читал только неправильные книги, так называемые смешные или бунтарские, но он не читал Шопенгауэра, Юнга или Фрейда. Бузотер да и только, эта птица.

Симон В., в описании Реве «зловонный», вовсе не имеет больше доступа к дому писателя, так как было замечено, что после всякого визита поэта в шкафу становится книгой меньше. Полагаю, что бывший пятидесятник, прочтя соответствующий пассаж, в спонтанной вспышке гнева ринется к телефону.

– Да ну, – говорит Реве, – Винкеног этот даже не знает, как по телефону-то позвонить. Посади ему дерево в комнате, он на него залезет. До сих пор не понимаю, как они могли серьезно относить-

ся к этой фигне. Я был среди них в пятидесятых. Нелепость заключалась в том, что эти люди требовали зеленую улицу для своей работы, но что это за работа? Они начали войну против общества, косности, толпы, запаха брюссельской капусты. Нелепость заключалась в том, что никто им соломки не стелил. Я ничего тут не могу сказать, я сам еще ничего не сделал тогда. Ненадежный это был народец. Мошенники. Оставить за собой шлейф из женщин с детьми и всякое такое. В то время это было шикарно.

Еще менее лестной оказывается книга для Мартена Бисхёйвела, который никогда не скрывал, что с трудом преодолел влияние прозы Реве.

– Литературные поделки у него, – презрительно отзывается мастер. – Вечно куча животных, и пусть о них другие заботятся, надо полагать. А начинает орать, тут же психиатр как штык, и едет он в Эндегейст[2]. Кто за это всё платит? Мальчик, в конце концов, не может всю жизнь оставаться редактором студенческого листка? У него есть способности писать, но на грани анекдотического. Он не видит, что все существование – это трагический факт, от смутного начала к туманному концу. Мировоззрения нет у него.

В другой главе «ученый брат» Карел ван хет Реве низводится до «ученого полубрата».

– Да, – говорит Реве, – оказалось, что мой отец был норвежским моряком, который был очень похож на отца Карела. Как это всё в точности обстояло, я унесу с собой в могилу. А может, в свое время расскажу. Мой ученый полубрат весьма против Бога, что кажется мне довольно странным для того, кого Бисхёйвел почитает за Бога.

---

2 Где находится психиатрическая больница.

Он на мгновение замолкает и вопросительно смотрит на репортера.

– Ты никак перднул? – спрашивает он невозмутимо. Я отрицаю. Он, без перехода: – Будешь мою книжку людям рекомендовать? И напишешь, что она такая благопристойная, что подходит также и для молодых, неопытных читателей? Она должна будет произвести небольшую сенсацию. Надеюсь, что пара-другая человек из-за нее подерется.

«Книга о Фиолетовом и Смерти» должна была стать последней «книгой, которая делает все остальные книги излишними, за исключением Библии, единственного слова Божия». Завуалированный анонс впервые появился в 1963 году, когда Реве (тогда Г. К. ван хет Реве) включил в «Ближе к Тебе» письмо, которое заканчивалось словами: (Р.М. Написать книгу о Фиолетовом и о Смерти.) В марте 1968 К. Л. Полл[3] сообщает в «Алхемене Ханделсблад»: «Герард Корнелис ван хет Реве работает в Греонтерпе, в семи километрах от Болсварда, над «Книгой Фиолетового и Смерти». О ней заявлено давно, но сейчас она действительно на подходе». Были завершены уже целых две страницы. Весной 1980 года издательство Elsevier Manteau с гордостью объявило о долгожданном шедевре. Циркулировал даже макет с шестнадцатью страницами текста, но в последний момент название было изменено на «Мать и Сын». Издатель Герт ван Орсхот уже несколько лет назад заявил о названии «Книга о Фиолетовом и Смерти», и Реве было запрещено использовать его сейчас.

---

3 Kornelis Lubbertus Poll (1927–1990) – журналист и писатель.

Кропотливый процесс создания много раз откладываемой и, за исключением «Вечеров», в то время наиболее широко обсуждаемой книги Реве, воссоздан в трактате «Иисус Мария!». Ознакомившись с архивами, автор Вим Веннекес[4] утверждает, что курьезный трактат «Маленький неврастеник» (1922) преданного забвению чудака д-ра Германа де Кока, несомненно, произвел глубокое впечатление на Реве. В «Вечерах» книга Де Кока упоминается хотя и косвенно, но определенно: цитата из нее послужила Реве не только для названия, но и для эпиграфа к его новой книге. Цитата: «Сударь, – говорит Дорус, – как будто тяжкая обязанность возложена мне на плечи. Обязанность написать великую, мощную книгу. Книгу, название которой будет звучать так: О Свете и о Тени, о Фиолетовом и о Смерти… И о Вдохновении». Веннекес предполагает, что «Маленький неврастеник» красной нитью проходит через творчество Реве.

Писатель напрягается, когда я демонстрирую ему этот вывод. Он был раздражен корректурой сочинения, которую прислал ему Веннекес.

– Сей господин настолько щедро черпал из моих книг, что можно считать это пиратским изданием. Переписал целые абзацы. Это уже половина процесса. Я бы не стал уделять этому внимания.

Но правда ли это? Сделал ли Реве эксцентрические, теософские идеи загадочного д-ра Де Кока своими?

Протестующий жест:

– Нет, Де Кок не имеет никакого отношения к моей книге. Это просто повод. «Маленький

---

4 Wim Wennekes (1948–2001) – старший редактор газеты «Врей Недерланд».

неврастеник» – хорошая книга, особенно по тем временам. Почем я знаю. Я написал книгу, и люди должны получать удовольствие, читая ее. Я не занимаюсь искусством, дабы улучшить мир или отвлечь рабочую молодожь от классовой борьбы или всякое такое. У того, кто творит произведение искусства, картину, могут быть всевозможные пантеистические или социальные идеи, но, если картина висит на стене, она должна что-то представлять. Тогда вы созерцаете ее с удовольствием и с волнением. Или вас веселит ее игривый или смешной характер. А больше, правда, ничего.

Легкое насмешливое мерцание исчезло. Он серьезно продолжает: – Возможно, единственной настоящей темой, которая преобладает во всяком искусстве, является смерть. Шопенгауэр пишет, что в самых прекрасных книгах ничего не происходит, в то время как у читателя и писателя растет понимание. Это моя цель. Каждое произведение искусства напоминает нам о смерти. В Королевском музее я когда-то часами простаивал перед портретом семнадцатого века: молодой человек лет четырнадцати-пятнадцати. И вот я думаю: кто этот юноша? Сохранилась ли его могила, или ее уничтожили? Преходящесть – мотив всех моих книг. Когда Юп приходит с милым, славным ребенком, у которого есть определенный интерес, эмоциональный или сентиментальный, моя первая мысль: сколько лет мальчонке? Это очень красивый мальчик, он очень старается в школе, и у него хороший голос, и он музыкальный, но что может помешать ему через три месяца провалиться под лед и быть похороненным спустя несколько дней? Я вижу смерть в каждом живом существе. И это не потому, что я хочу этого, или потому, что желаю этого людям.

Мерцание внезапно возвращается, когда он поспешно добавляет: – Только некоторым, конечно. Они действительно должны умереть. Две трети моих врагов уже мертвы. Не потому, что я что-то написал против них, а потому, что Бог решил, что лучше забрать их с собой.

Из коридора раздается шум. Юп Схафтхёйзен, «Матрос Лис», которому посвящена «Книга о Фиолетовом и Смерти», входит с сумкой для покупок. Это он ведает закупкой африканских произведений искусства, что на стене. Чуть раньше Реве назвал эти объекты «отвратительными»; он сказал, что видит в них прежде всего «фаллические символы». Из соседней комнаты Схафтхёйзен возвращается с примитивной деревянной резьбой, стоимостью в десятки тысяч гульденов и возрастом не менее четырехсот лет.

– Да не верю я. Не может это дерево храниться в тропической стране в течение такого длительного периода. Да и не нравится она мне, – говорит Реве.

– Я – коллекционер прекрасных вещей, – с энтузиазмом подхватывает Схафтхёйзен. – Но это правда, что Шопенгауэр пишет: как только желание исполняется, возникает новое желание. Страстное желание иметь все, что создано определенным художником, или вещи конкретного художественного направления – неисчерпаемо.

– Вот уж что меня совершенно не интересует, – утомленно говорит Реве.

– А должно интересовать, – считает Схафтхёйзен. – Твой интерес к религии – та же форма коллекционирования. Ты об этом читаешь всё подряд. Это определенная потребность, которой невозможно сопротивляться.

Реве: Совершенный идиотизм, по-моему.

Схафтхёйзен: Ок, Герард, ты теперь говоришь, как писатель. Но тот, кто читает твои книги, узнает в них страстное влечение к прекрасному, которое ты умеешь выразить. Всё-таки в искусстве речь идет о власти и силе эстетики.

Реве: Ну уж нет, лежащие за этим идеи гораздо важнее. Эстетика сама по себе не имеет никакого значения. Слащавчиков читать невозможно. Уродливая актриса может сыграть великолепную роль.

Схафтхёйзен: Взять, скажем, фильм «Четвертый мужчина». Это настоящее мастерство, дай уж мне договорить. Это такой хороший фильм, потому что Том Хофман в тот период был на самом гребне. В этой роли просто видишь потрясающую кинозвезду.

Реве: Качество начинается с хорошего сценария. Любого можно было на эту роль взять.

Схафтхёйзен: Я не согласен. Хофман просто красивый мальчик.

Реве: Не о том речь. Он большой артист в том смысле, что берет на себя труд войти в роль. Он выстраивает эту роль, он умен, он приходит на съемочную площадку не для того, чтобы отыграть пару сцен. Самое последнее, что делает фильм – это актеры, это куклы. Это…

Схафтхёйзен: Какая чушь.

Реве: Когда смотришь старую пьесу Шекспира, видишь табличку, и на ней написано: поляна в лесу. И следует сцена.

Схафтхёйзен: Тут ты говоришь о том, что было триста лет назад. А между тем многое же ведь изменилось.

Реве: Да ничего не изменилось. Единственное – что хрень стала совершенно нечитабельной. В спектакле в нынешнее время должно быть всё насколько можно более реалистично. Пьеса, в которой режут курицу – вот на нее очередь стоит.

Музыкант тоже не может ничего поделать, если ему приходится играть уродливое сочинение. В мире искусства всё настолько запутано, что лучше держаться от него подальше. Актеры могут играть потрясающе, а заговоришь с ними – ни слова в ответ внятного. Доводилось тебе вечер провести среди танцовщиков? Мне – да. Был там среди них один, гетеро, и вот он говорит: «Ой такое у меня трико хорошенькое, не очень теплое, и меня так прямо по музыке несет, просто нужно за ней следовать». Вот такие разговорчики. И то же по телевизору, и везде то же.

Схафтхёйзен встает и удаляется на кухню:

– Пойду картошечки почищу.

– Юп – сокровище, но он ничего не понимает, – говорит Реве. – Он из грубой среды, они там прямолинейные. Могу ошибаться, но я считаю, что у Юпа нет чувства волшебного, таинственного. Когда я сижу в соборе, слушаю прекрасную мессу, и вступает орган – для меня небо распахивается. У меня тогда эмоции, меня захватывает. Я не имею в виду, что у меня убеждения. Проголосовать за партию – вот это убеждение. Может быть, это как-то связано с твоими доходами. Но это нечто другое; это имеет отношение ко всему. Что ты слышишь и думаешь: вот бы все, кого я знаю, были здесь. Но если там есть люди, опять думаешь: черт возьми, вот бы одному остаться. Потому что люди всё время говорят, они включают музыку для фона. Дети, которые растут под телевизор, включенный днем и ночью, не видят

потом никакой связи. Они видят картинки, содержание до них не доходит. Вопрос в том, смогут ли молодые люди через двадцать лет еще понимать сюжетный фильм. Крупное произведение, в котором все имеет значение, – как следить за ним, если через три секунды забываешь то, что видел.

За окнами на Махелен опускаются вечерние сумерки. При свете торшера Герард Реве читает вслух из своей новой книги.

Матрос Лис приготовил блюдо из витлуфа. Мы едим за кухонным столом.

– Кстати, – говорит Реве, – мы тут говорили о той телепередаче в прошлом году, когда я разозлился и убежал. Вара мне заплатила пять тысяч гульденов за работу. Я сперва хотел эти деньги вернуть, потом подумал: может быть, они решат перевести деньги в ООП[5]. И эти пять тысяч гульденов Вары мы сами перевели на счет объединения в поддержку Израиля. Юп, ты знаешь, где у нас этот перевод? Может быть, неплохо напечатать его как иллюстрацию к статье.

– Да иди ты к черту! – орет Схафтхёйзен. – Ты же не собираешься на всю улицу простынями трясти? Другим это до фонаря. К тому же это против правил.

Он встает и возвращается с бумагой, которая исписана рукой мастера, его перьевой ручкой.

– Мы это вместе в прошлом месяце сочинили. Герард только что пролежал несколько дней в постели с депрессией, одной из самых тяжких, с которыми я когда-либо имел дело. В те дни я довольно сильно пил. Ну, мы поцапались, а потом решили кое-что записать, чтобы такие недоразумения больше не повторялись.

---

5 Организация освобождения Палестины.

Мне было позволено взять «Бумажный образ жизни» в газету.

Реве передает еще один листок – написанное от руки заявление, составленное «за пять дней до Сретенья, 1996». «Герард Реве является членом Евангелического Вещания в течение примерно восьми лет, по следующим причинам», – написано сверху.

«1.ЕВ уже очень давно разоблачило так называемый Всемирный совет церквей как добровольное орудие Советского Союза и Советского Гестапо (КГБ).

2. Также ЕВ уже много лет назад разоблачило так называемый Африканский Национальный Конгресс как коммунистическое террористическое движение. Кроме того, оно показало пропагандистский фильм самого АНК, со сценами сжигания живьем его противников.

3. ЕВ, проводя акцию по агитированию в свои ряды половины миллиона новых членов, одновременно собрало Один Миллион Гульденов для Израиля. Всего лишь в одной нидерландской газете единственной строкой было упомянуто, что президент Израиля после визита в Нидерланды, незадолго до отъезда, отправился в Урк, дабы получить чек на один миллион гульденов. Откуда взялся это миллион, упомянуто не было.

То, что ЕВ не принимает на службу гомосексуалов, кажется мне сказочкой. Возможно, это просто выдумка.

То, что ЕВ не транслирует порнографию и богохульство, я считаю его заслугой. Порнография и богохульство, в сущности, одно и то же, о чем я заявил в книге «Самому стать писателем».

Из официально христианских органов вещания VPRO, NCRV и KRO только NCRV имеет христианский характерный почерк, становящийся всё более расплывчатым.

Закрыть окна – от ног запахнет. Конец сообщения».

– Да, Герард действительно так думает, до последнего слова, – уверяет Схафтхёйзен. – Каждую неделю у нас в ящике этот буклет от EB. Ужасно, правда. Банда кошкодавов. Меня тошнит от этих программ, нетерпимость просто экран заволакивает. Ну, один фильм про природу показали.

Реве неподвижно, почти угрюмо глядит перед собой. Потом надевает очки, и весь вечер больше их не снимает. Он сразу начинает казаться на много лет старше. Без передышки читает две главы из новой книги, почти час подряд. Бокал красного вина, налитый ему в начале ужина, остается нетронутым.

– Спиртное мне больше вреда не делает, – говорит он на мое замечание, что раньше он не упоминал о своем пребывании в реабилитационной клинике. – Я не писал об этом, потому что на самом деле все было плохо. Там была замечательная старшая сестра, незамужняя женщина, ей было пятьдесят один или около того, с усталым, изможденным лицом, потому что тогда это была каторжная работа, и эта женщина присела на краешек моей кровати. Она была протестантка, и у нее был кризис веры. У меня больше не было никакой надежды; все было страх и угроза для меня. И я тогда сказал этой женщине: «Бог – это Бог страждущий, вы и все люди слишком многого хотите от Бога, а каково Ему, никого не интересу-

ет». Может быть, Бог пьет, а может и вовсе не пьет. Какое у нас право это знать? И затем я пишу:

Если Господь пьет, стало быть, на то есть причина.

Этим заканчивается глава. Нидерланды трясутся от хохота; люди думают, что это очень забавно. Они не могут понять то серьезное, что стоит за этим.

Его стихотворение об обращении в католицизм, сопровождающееся метаморфозой старика в молодого блондина, неизменно пользовалось огромной популярностью зала.

– Потому что это то, что люди хотят услышать, понимаешь. Я высказываю то, на что они в глубине души надеются, прежде чем отойдут от католической веры. Разница в том, что они перешли от одной церкви к другой. Я же примкнул к единственной церкви, выйдя из другой церкви. Люди хотели бы принять веру, в которой они разочарованы. Католицизм был страшной религией и тем самым оттолкнул людей. Буквальность учения приводила к всяческим толкованиям, со всяческими заповедями, которые невозможно найти в Писании. Как-то лежал я в больнице в Верте, и туда пришел священник соборовать на старинный лад. Он был обряжен в саван, с большим посохом. Позади него шел мальчик с горящим фонарем и звонил в колокольчик. Когда он шел по коридору, все встали на колени: пациенты, врачи, все. И так и должно быть. Спустя годы меня поместили в государственную больницу в Схидаме, там ничего такого католического. Мне предстояла серьезная операция, возможен был фатальный исход. Для форса, но также и для того, чтобы всё гладко прошло, подумывал я испросить помаза-

ние болящего, то же самое, раньше это называлось помазанием умирающего. Но решил этого не делать. Испугался, что пришлют мне этакого современного мужика в джинсовой куртке, измазанной арахисовой пастой, который курит сигареты и говорит тебе «ты», и Богу говорит «ты», и талдычит всяческие рацеи собственного сочинения. Только потом я узнал, что в этой больнице действительно был старый патер, у которого имелся раскладной стол, распятие, свечи и статуя Марии. Да, кабы мне знать тогда! Поскольку я отказался от таинств, у меня случилось воспаление, и опять мне пришлось под нож. По крайней мере, я так чувствую.

Между тем уже половина второго ночи. Матрос Лис полтора часа назад ушел спать. И Реве теперь пьет вино. Он откупоривает вторую бутылку и наливает бокалы до краев.

– Не могу работать ночью, а хотелось бы, – говорит он. – Однажды написал Хермансу, чтобы он мне объяснил, как ему это удается, ночью работать. Что он делает, чтобы не заснуть? Ответа так и не получил. Я думаю, к этому можно привыкнуть, но я последнее время какой-то никакой. К половине десятого я уже полумертвый. Самое для меня лучшее время – это с утра пораньше, но, вообще говоря, мы слишком поздно встаем. Полдня ходим за покупками, ругаемся и скандалим. Потом мне нужно что-то купить, потом мне нужно это забрать. Потом я возвращаюсь домой, а потом Юп говорит, что я что-то забыл. А я тебе говорил, нет, ты мне не говорил, вся эта бодяга, сам понимаешь. На эту книгу я два года угрохал. Моя сильная сторона – это письма, но я давно их не писал. Я могу общаться с простыми людь-

ми; фермер или рыбак, у них есть своя мудрость. Знания не нужны. Но мне очень трудно говорить с людьми, у которых нет даже зачатков мудрости. Запоминать вещи, искать в них интересное, это главное. Читать кого-то с желанием добраться до сути его работы. Я предпочитаю, чтобы меня окружали люди, пишущие лучше меня, нежели те, что пишут хуже, – ибо тогда никто не устанавливает стандартов. Всё остальное – хлам. Я пишу что-то, и люди в восторге. Затем я пишу кое-то похуже, и люди всё равно в восторге. Потому что это так же хорошо или не хуже, чем у других.

Его книги держатся уже добрых пятьдесят лет, – с удовлетворением замечает он.

– Недурной, значит, результат по сравнению со многими другими. Никто не читает Винкенога, никто не читает Камперта, никто не читает Хюго Клауса. Есть ведь люди, которым нечего сказать миру. Но никто не распознал гения Луи-Поля Бона, которому пришлось восемь лет ходить по инстанциям, обивать пороги, чтобы выпустить «Часовенную дорогу». «Манто»[6] как раз тогда ему отказал, и «Дорога» вышла только в 1952 году в страшно уродливом оформлении. Теперь будет полная версия. Бон был на свой лад социалист, но выше общественных отношений. И зла не держал ни на кого, а это очень важно. Я с ним несколько раз встречался, но близко его не знал, а жаль. Застенчив я был не в меру, не хотел надоедать этому человеку. Как-то раз очутился с ним за столиком на книжном рынке в Бейенкорфе[7]. Маленький, скрюченный. Безумно похотливый, но не безнравственный. Девушка в беленькой такой бейенкор-

6 Нидерландское издательство.

7 Крупная сеть нидерландских магазинов.

фовской юбочке принесла какую-то закуску. Бон сделал ей комплимент и сказал с этаким горящим взором, что он о ней думает и какое желание она у него вызывает. И эта девушка покраснела и смутилась, но не обиделась и не оскорбилась. Он ей сказал, чего бы он от нее хотел, буде таковая возможность, и в этом не было ни единой сальности. Что-то очень чистое было в этом человеке. Бон расценивал сексуальность как судьбу, а не как нечто грязное. И в этом он был прав. Эрос ведет к Танатосу. Это на самом деле трагический факт: недостаточность человеческой любви.

Ночь оказалась короткой. Через четыре жалких часа сна утром, в четверть девятого Реве расталкивает гостя, лежащего в гостевой кровати.

– Пойду кофе варить, – жизнерадостно возвещает он. – Douwe Egberts' Goudmerk любишь?

Вытянув руку перед собой, с ничего не выражающим лицом он расхаживает по комнате. Справляется о моем возрасте и разражается смехом:

– Тогда я дольше тебя проживу, потому как молодые уходят первыми.

И спрашивает:

– У тебя всё еще диабет? Никогда не было? А моча пенится? Это когда диабет, такое бывает!

Чуть позже я слышу, как он, напевая, спускается по лестнице.

За завтраком он рассказывает, что ему снилось в последний раз. – Мне снилось, что я стоял у врат небесных, и это была опустевшая, заброшенная фабрика. Было темно, грязно; шел дождь. Господь сидел сердитый, капризный, и мне в глаза бросилось, что одна только рука у него. Я говорю: я, мол, такой-то и такой-то. Начал он искать в большой книге, а меня там нет. Там всякие: Ревебур,

Ревенс, такие имена ведь тоже бывают. Тогда Господь объясняет это Марии, и всё улаживается. Вот что приснилось мне. Мария – всемогущая заступница; Господь ни в чем не может отказать ей, так что, если она позаботится о грешнике, тогда все в порядке. Когда ты подойдешь к вратам небесным, и не станут тебя пускать, скажи: хочу с матушкой вашей потолковать. И вот выходит она наконец, усталая, потому что дел у нее невпроворот. И ты говоришь Марии: что я могу сказать, я грешил, но я был лично знаком с Герардом Реве. И тогда она говорит: «вот мудила, так бы сразу и сказал. Проходи давай».

«Врей Недерланд», 17 февраля 1996

СОДЕРЖАНИЕ

Книга о Фиолетовом и Смерти 5

Нико Кеунинг.
Теперь я знаю, где ты засел 285

Руди Каги.
Реве: «Запоминать вещи, вот в чем суть» 307

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

Я И МОЙ ЛАКЕЙ

Очень странные ощущения, когда открываешь посреди ночи глаза и видишь стоящего рядом лакея – в домашнем халате или пижаме, которую я носил, когда был молод, или же голого, с накинутой на плечи меховой шубой, которую я заказал себе, когда ездил в Москву, – лакей смотрит во мраке, не говоря ни слова, сверля меня взглядом поблескивающих желтых глаз.

Эрве Гибер

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

«Цитомегаловирус» был опубликован в январе 1992 года, всего через несколько недель после смерти Эрве Гибера в больнице, куда его доставили из-за попытки самоубийства. „Слова побеждают все!“, – говорил писатель. Его дневник это подтверждает.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

МАЛЬВА-ДЕВСТВЕННИК

Не сам ли Гибер скрывается за этими странными персонажами, меняющими имена и предстающими в образах юного девственника, пылкого любовника, жертвы землетрясения или ученика, провожающего великого философа до могилы?

Эрве Гибер

МОИ РОДИТЕЛИ

Почему двоюродная бабка Луиза перевернула вверх дном квартиру своей сестры Сюзанны? Какие документы она пыталась отыскать, и что было в сожженных письмах? Правда ли, что в них говорилось о постыдном проступке матери Эрве Гибера? Зачем его отец срочно покинул Ниццу, бросив свой ветеринарный кабинет, парусник, зеленый форд, двух лошадей и невесту? К какому шантажу прибегают родители маленького Эрве, дабы заполучить семейные реликвии? И где спрятано золото, которое то закапывают, то выкапывают, не в силах расстаться с ним? – Для родителей нет ничего страшнее неудержимой тяги сына к поискам истины.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ПОРОК

Гибер показывает нам странные предметы – вибрирующее кресло, вакуумную машину, щипцы для завивки ресниц, эфирную маску, ортопедический воротник – и ведет в волнующий мир: мы попадаем в турецкие бани, зоологические галереи, зверинец, кабинет таксидермиста, открывая для себя видения и страхи писателя и фотографа. Книга, задуманная и написанная в конце 70-х годов, была опубликована незадолго до смерти писателя.

Эрве Гибер

ПРИЧУДЫ АРТУРА

Я хотел рассказать историю святого, живущего в наши дни и проходящего все этапы, ведущие к святости: распутство и жестокость, как у Юлиана Странноприимца, видения, явления, преображения и в то же время подозрительная торговля зверями. В конце – одиночество, нищета и, наконец, стигматы, блаженство.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Эрве Гибер

ГАНГСТЕРЫ

Эрве Гибер написал «Гангстеров», когда уже был болен неизлечимой болезнью. Он ни разу не упоминает ее, но повествование наполнено страхом смерти. Критик газеты Le Monde назвал эту книгу «трактатом о боли».

Эрве Гибер

СМЕРТЬ НАПОКАЗ

Язык и член – полны жизни – оголены, у них нет кожи. Язык – говорит, мокнет в слюне, ест, сосет, входит внутрь и выходит. Член – его едят, он сам ест и льет свое семя. Излияния слов, слюны, спермы. Гомосексуальное тело – анально-фаллическое письмо. Именно тело, конечно же, говорит, пишет, исследуя себя и вписывая себя в текст. Устраивает представления, впадает в истерику, занимается садомазохизмом. Говорит о желании и оргазмах. Раскрывается, рвется, буравится. Описывает свои органы и заставляет играть их, словно музыкальные инструменты. Состоять в садомазохистских отношениях с письмом, – посредством его – вскрывать, препарировать собственно тело и препарировать самое письмо.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ

В 1948 году шестидесятилетний философ Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге «Школа мальчиков» собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917–2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Марсель Жуандо

НЕПРИСТОЙНЫЕ ПИСЬМА

Гетеросексуальность – это коммерция, индустрия; гомосексуальность – искусство. Древние греки запрещали гомосексуализм рабам. Что до меня, я хотел бы, чтобы он был дозволен лишь мудрецам.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем нам кажется. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Эркюлин Барбен

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА

Судьба Эркюлин Барбен (1838–1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ОБРАЗЫ ПАРИЖА

«Образы Парижа» (1934) и «Новые образы Парижа» (1956) – собрание портретов обитателей великой столицы, людей и животных – «неповторимых, одиноких, слепых светил, вращающихся, не сознавая того, вокруг Бога». Величавая женщина из общественного сада, белая лошадь угольщика, «ночной мотылек» Фёдор, безумица в кафе, сборщица угля, спящий на набережной клошар, 30 слепых девушек, карманник из метро, попугайчики в клетке, злобная консьержка, навязчивый жандарм, сентиментальный бродяга и сотни других персонажей, встретившихся философу Марселю Жуандо на пути в городе, который с тех пор изменился до неузнаваемости и остался в точности таким же.

Издательства Kolonna Publications и Митин Журнал представляют

Марсель Жуандо

ЛЮБИТЕЛЬ НЕОСТОРОЖНОСТИ

«Липсе сидел на обочине дороги, видом и облачением подобный ангелу. Земля была нежной, как ласка, и неподвижная улыбка моего друга меня успокоила. Я прижался головой к его сердцу. И тут же его руки превратились в огромный волшебный лес, где я увидел странных птиц и огненных хищников – львов и тигров, которые смотрели на меня с любовью и восхищением, словно я был местным божеством. Я позвал Липсе, и лес ответил мне его шепотом; каждый листок знал мое имя».

Рене Кревель

ТРУДНАЯ СМЕРТЬ

В 1925 году на вопрос сюрреалистической анкеты о самоубийстве Рене Кревель ответил «Это, возможно, самый верный и совершенный выход». Пьер Дюмон, герой его знаменитого романа «Трудная смерть» (1926), тоже не находит другого выхода. Он страстно влюблен в американского композитора Артура Браггла, а тот делает вид, что Пьер ему наскучил.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Перелётный кабак», Мансуровский, 10

в Санкт-Петербурге:
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через *Интернет:*
«Ozon» ozon.ru
«Лабиринт» labirint.ru

в *Украине:*
«Либра» librabook.com.ua

Герард Реве
КНИГА О ФИОЛЕТОВОМ И СМЕРТИ
перевод Ольги Гришиной